

Валентин ПРОТАЛИН

**СЕМЬ ДНЕЙ, ЧЕТЫРЕ НОЧИ
И ЕЩЁ ОДИН ДЕНЬ В ГОДУ**

Иллюзорный дневник шестидесятника

Москва
Издательство «БПП»
2010

Лирико-эпическое историко-философское сочинение в стихах — с тремя главными персонажами: лирический герой, Муза и земная лирическая героиня. Герой с помощью Музы путешествует по времени и пространствам и в итоге возвращается домой, в Москву, Историческое время поэмы — от эпохи Древнего Рима до нашей эпохи — поэтически явлено как нераздельная ценность людей Земли. Реальности минувшего и настоящего, имеющие место в поэме, что называется, можно потрогать руками, узнать, как узнается знакомое, увидеть и услышать в красивых и некрасивых подробностях, почувствовать непреходящесть непреходящего. Ум, таланты, труды, искусство, чувства, человеческий гений живших и живущих помогают герою в трудных, нередко изматывающих поисках смысла человеческой жизни как таковой, сути личного и личностного предназначения. И, конечно, в поэме очень много любви.

ПРОЛОГ

Спорило солнце со звездами.
Долго смеялись звезды:

— Можно ли думать серьезно,
что станет велик ничтожный.
Гордым не будет жалкий,
смертный — прах после смерти.
Вон он,
обросший шерстью,
тянется к плоду палкой.
Нет, не пристало звездам
червя творить из света.
Вспыхни, пока не поздно.
Испепели планету.
Лучше быть сразу светом,
как воплощенной целью,
и, возникая где-то,
вечной нестись метелью.
Лучше быть просто прахом,
чем на момент очнуться
и, одержимым страхом,
скова в ничто вернуться.

Солнце им отвечало:

— Жизнь там берет начало.
Вырвался дух на волю.
Пусть разберется сам он.
В приступах первой боли

там оживает камень.
И, если смертны люди,
светом моим согретый
пусть этот камень будет
вечно живой планетой.
Мыслящей плотью ставший,
каждый на ней, как может,
будет земного старше,
будет Земли моложе.
В радостях или в муках
жизнь набирает силы,
Деды живут во внуках —
корни зерно пустило...

А на Земле,
у чащи —
сверху совсем не видно —
плод пожирал мой пращур,
верно, довольно винный.
Плод, палкой сбитый с древа,
под руку что попалась.
Чавкал мой предок древний,
морда в соку купалась.
Не вытирая рожи,
он кожуру отбросил,
он постоял,
быть может,
перед первым вопросом.
Он посмотрел на палку
тупо,
не понимая.

Прыгнул разок с развалкой —
вроде, борьба немая.
И, прорывав сердито,
словно решил — обсудим:
мало ли что сокрыто
в этом нежданном чуде.
Но ведь и бросить жалко.
К счастью или к несчастью,
взял он с опаской палку
и затерялся в чаще.

НОЧЬ ПЕРВАЯ

I

И где теперь моя блуждает мысль,
не то мрачна, не то она игрива.
Мне слышатся неясные разрывы
тех быстрых чувств,
что за день пронеслись.
Наверное, во мне добро и зло
стерпелись,
как в квартире коммунальной.
Видения ночные нереальны...

Глаза открыл,
а в комнате светло.
Свет странный,
не бросающий теней.
И женщина,

что кажется чудесной,
сидит спокойно в нашем низком кресле
и ждет, пока я взглядом встречу с ней.
Богиня ли,
царевна ли без свиты?
Как правильны черты ее чела.
Знакомы чем-то, но полузабыты.

— Ты звал меня когда-то...
Я пришла.

— Что значит звал?
Я и теперь зову.
Пусть это сон...
За то уж благодарен,
что ты пришла во сне, как наяву,
что мне тобою этот миг подарен.
Чем выше человек поставил цель,
тем больше жажда им любви владеет.
Ты пламя — значит, чувства не хладеют.
К похмелью не ведет веселый хмель.
Ведь если даже лучшая из жен
окажется несбыточной мечтою, —
она не станет выдумкой пустою,
как воздухом ты ею окружен.
Я звал тебя!
Да, я тебя искал
среди толпы,
во взглядах мимолетных.
Все ждал —
придет ли случай поворотный,

чтоб мир твоей оправой засверкал.
Страницы жизни,
та или иная,
мелькнут передо мною —
и тогда
черты ушедших женщин вспоминаю,
чтоб образ той, единственной, создать.
Пусть даже перемучась, отлюбя,
душа напоминает пепелище —
единственную женщину все ищем,
как жизнь свою,
как самого себя...

— Пстой, пстой...
Меня ты не узнал,
а потому и ничего не понял.
Не торопись
и постарайся вспомнить:
давным-давно меня ты в детстве звал.
Припомнишь ли,
в далеком детстве,
там,
ты трепетно искал со мною союза?
Хотел ты, чтоб тебя водила Муза
по ныне успокоенным векам.
Твой лепет был так искренен и чист.
Я здесь.
Сошлось расположеье числ.

— Благодарю.
Еще один урок.

Но неужели все мои желанья
исполнятся в такой вот тоже срок,
и жизнь — одни сплошные опоздания?

— Похоже,
если взять твои дела,
текущие намеренья, заботы...
Я б мальчика того с собой взяла,
быть может, даже с большою охотой.
Но не судьба —
был мальчик слишком мал.
Нельзя разочаровывать до срока.
Века он долгим временем считал
и предков быт — явлением высоким...
Теперь пойдём.
Потом поговорим.
Спеши —
открылись двери в древний Рим.
Но если ты найдешь во мне нехстати
вновь женщину,
вернется все назад.
Тебя, конечно, ненадолго хватит,
но кое-что успею показать.

II

— Что это, как ты думаешь?
— Ничто.
— Теперь ничто,
а прежде лавром было.

Он в тоге и нестиранной, и рваной,
с заплатами на грубых башмаках.

— Что за богиня...
Эй, угодник муз, —
кричит он мне, —
с утра не давит сердце?
Пожалуй-ка, счастливец, мне сестерций,
а я тебе за это пригожусь.
Юпитер видит, как я расстараюсь.
Не жадничай при женщине, дари.

— Бери, квирит, и не благодари.

Он усмехнулся:

— И не собираюсь...
А ты случайно, добрый мой, не грек?
Все нынче норовят одеться в тогу.
Ну, извини,
Башка болит немного.
Я не слепой: сам вижу — человек...
Вот улица Югарская.
На Форум
ведет она...
А грек...
Грек страсть болтлив.
Заброшенные ветром к нам, с которым
привозят фиги или чернослив,
приехали, приткнулись кто куда.
Им трепет к этой улице неведом,

где яблоко сабинское кидал
подружке ты
или жене соседа.
А гордость римлян?
Все это пустое?
А воздух Авентинского холма,
которым в детстве ты дышал,
не стоит
его всегда вертлявого ума
с набором чисто греческих историй?
По случаю попал ты на обед —
а грек уж там,
и на почетном месте.
Попробуй-ка за ним угнаться в лести.
В тебе, квирите, тонкости той нет.
Прожорлив ты, но на слова не скор.
И жиром лишь твои лоснятся губы.
Не угодишь, затеяв разговор.
Хоть выверни язык — а выйдет грубо...
Ну что же, за хорошим разговором
пришли —
перед тобой, пришелец, Форум.

Ряды колонн,
и — грани вторит грань.
Так Форум мне явил свой профиль
строгий.

Отец богов Священную дорогу
ему на спину положил, как длань.
И холм плечо обрывистого склона
подставил храмам.

Встав на самый край,
как тень бросают мощные колонны —
ты только человек, не забывай.

Я перестал смотреть поверх голов.
Иначе мне теперь открылся Форум.
Вокруг толпа.
И каждый в ней готов
легко припасть ушами к разговорам.
И крутятся повсюду там и тут
воронками догадки, небылицы.
Над новостями самый скорый суд...
По очереди выражают лица
веселость, удивленье, гнев и страх.
И все это меняется мгновенно.
Я замечаю надписи на стенах,
на бедрах статуй —
в прозе и стихах
царапал кто-то.
Целый арсенал —
от грубых шуток до любовных жалоб.
Медведя привели — толпа сбежалась.
И лавки ювелиров и менял
открылись за колоннами Сатурна.

— Недурно, — хмыкнул Марк, как
прохрипел. —

Так ловко сбросил ты свои котурны,
что сам того заметить не успел.
Гляди — толпа.
Раб и владыка Рима.

Повсюду вечна и неистребима.
Ты с нею в состоянии войны,
когда тебя и тащат, и толкают.
Песчинка ты в толпе,
и роль такая
гнетет.
Но посмотри со стороны.
Где, как она себя бы ни вела,
толпа — большой ребенок,
и, как дети,
по случаю — несправедна и зла.
Но доведись — добрее нет на свете.
В ней нет, конечно, прелести дитя.
И потому любить ее труднее.
Да и зачем?
Себя надеждой льстя,
через любовь возвыситься над нею?
И есть ли правда в выпитом вине?..
Заигрывают с ней, как с неким зверем,
ручным, но прирученным не вполне.
Все ж, хищник.
Мы себе — и то не верим.
И есть в толпе над всяким смертным
власть,
лишенная понятности, как божья.
Опомнившись, потом ты скажешь:
«Кто ж я?!Со всеми вместе так оравший всласть,
исполненный то радости, то зла?»
А это значит:
так она хотела,

влача в себе твое не только тело,
но и искусно душу забрала.
И ты стыдишься, как невольный вор...

— Скажи, мой новый друг,
а сам-то кто ты?

— Узнай, когда узнать тебе охота.
— Друг Катилины, Марк Нобилиор.

III

Пусть дева полуголая на флейте
играет,
жертву проводив к богам.
Квириты, на алтарь вино возлейте.
Будь, бородатый, благосклонен к нам.
Тебе, Приап, приносится вино
участниками этой вечеринки.
Мы повстречались все на Рыбном рынке,
там, где с утра до темноты полно
охотников гулять за общий счет.
Прими всех тех,
кого к тебе влечет.
Как ты искусно делаешь друзьями
тех, кто в толпе разбросан был вчера.
И это братство властвует над нами,

неложное —
и пусть лишь до утра.

Не смерть ли —
эта пьяная старуха,
обнявшая в углу кувшин с вином?
Пускай, больная, шепчет мне на ухо:
ты мой — сердясь.
Но это будет днем.
Тебе, Приап, наполненные кубки
веселой влаги с лепестками роз
и эти восхитительные губки,
прохладные от виноградных лоз.
Тебе мы наслаждением отплатим.
В нас разбудив податливых зверят,
пусть девы украшеньями на платьях,
как систрами священными, звенят.
И ночь, начавшись, с нами заодно,
и страстью все повязаны одною.
Подхваченные общею волною
гетеры отдаются за вино...
Пока вино не затемнило взор,
хозяин начал этот разговор.

ЛУЦИЙ:

— Мне кажется, что я когда-то жил.
Но вспоминать — напрасная работа.
Мне кровь моя, напрягши русла жил,
все сообщить об этом хочет что-то.
Как ни живете —
в страхе иль страха —
и из каких источников ни пьете,
но с телом разлученная душа

не может помнить назначенья плоти.
Иначе, чем душа, не назовешь
присутствие внутри какой-то силы.
Но как себя всем этим не тревожь,
шаг сделаешь —
и тайна отступила...
Так я поверил, что какой-то бог,
предел земли покинув,
возвратится.
Людские души, как ручные птицы,
к нему слетятся.
Как к ветвям листок,
чтоб вновь зеленым стать,
душа б взлетела
моя к нему,
не оставляя тела.
С ней разделив провидческий экстаз,
познал, о чем, беспамятный, молчу я,
что свыше мне дано,
что скрыто в нас
и что пока во времени кочует.
А кто он будет —
не имеет сути...
И я скажу:
«Будь счастлива!» — минуте,
что ослепляет, как внезапный свет.
Пусть это мысль,
пусть чувство, что сильнее
глубоких чувств,
пусть некая идея,
несбыточная, странная, как бред,

все, что притянет пропастью экстаза,
в потемках страсти вспышки женских
тел,
на миг освобождающие разум
от рабства наших преходящих дел.
Подхваченный,
в неистовом кругу
понять не успеваю: плоть иль тень я...
Изведав все,
лишь душу берегу,
поскольку ей не знаю назначенья.

ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ

Встает, послушна простенькой свирели,
полунагая, робко пряча взор.
И лица всех мужчин повеселели,
и смолк совсем застольный разговор.
Идет по кругу за мотивом бодрым.
Дочь Гадеса,
хоть взглядом награди!
Остановилась,
дрожь прошла по бедрам,
и бубенцы хохочут на груди.

МАРК /Луцию/:

— Красиво,
но туманно и темно.
Где семя для питающего злака?
Не отвергай того, что всем дано.

Учись глядеть, как уличный зевака,
раскрыв глаза и сузив лоб, глядит
на зверя, чужедальние наряды...
Все зрелище, —
что происходит рядом,
и все для глаз предоставляет вид.
Не большая ли праздность задавать
вопрос:
откуда, для чего мы живы?
Всю жизнь крупички знанья добывать.
Но, как ни хороши, -
ответы лживы.
Мы живы —
вот единственный ответ.
Полней и окончательнее — нет.
Ты лучше эту жизнь благослови.
Воздай Изиде,
как первопричине,
Она связала женщину с мужчиной
и, полюбив, учила их любви.
Что мучиться, выискивая связь?
Вся жизнь промчится —
так и не созреешь.
Нет, — кончив жизнь, всему в ней
надивясь
уйти,
как возвращаются со зрелищ...

КВИНТ:

— В любом из смертных есть и свет,
и тьма,

что шествуют, дорогу уступая,
один другому,
вспугивая стаю
всех наших чувств.
Несхожие весьма,
они единым связаны узлом.
В ком тайный диалог добра со злом
не направлял поступки и деянья?
И кто охотник привлекать вниманье
к тому, что совершается внутри?
И в ком душа, как женщина, раздета,
нагая, не боящаяся света,
что всякий, если хочется, смотри?
Лишь постепенно,
в медленной борьбе
с земли искореняются пороки.
Да будут славны дивные пророки,
кто истину всем нам несет в себе!
Процесс борьбы,
он тоже, как река,
все принимает: подвиги и силы.
И что поделать,
длится он века
затем, наверно,
чтоб на всех хватило...

ДЕЦИМ:

— Застольный спор не знает берегов.

ЛУЦИЙ:

— Изрек, опять все по местам расставя...
Наш строгий Децим,
он душа простая,
и верит в государственных богов.

ДЕЦИМ:

— Да, это так.
А вы вот, например,
и умники, и кладези познания.
Но сколько вас сойдется,
столько вер.
За что такое Риму наказание?
Как будто бы — смешенье языков.
Где наше прежде грозное согласие?
На что уходят силы, воля, страсти?
Где слава наших дедовских веков?
В чем ваша слабость?
Всяк сам по себе,
вы мыслите занятно и глубоко,
но слепнет государственное око,
случайной предоставлено судьбе.
Большой огонь на мелкие огни
готовы растащить по разным клетям.
А кто из вас за вечный Рим в ответе?
И вечен ли с такими он детьми?

ЛУЦИЙ:

— Прошу, квириты, с Децимом
не спорьте.

Пусть отдохнут словесные мечи.
Какой хороший вечер нам испортил...
Ты прав, мой Децим, прав,
но помолчи.

ВТОРОЙ ТАНЕЦ

Вот заиграли на двойном гобое,
и входит, руки высоко воздев,
сирийка в низком головном уборе.
Нагие груди — украшенья дев.
В пурпурной тряпке,
как в огонь, одета,
она кружится,
всем страстям сестра,
и щелкают над нею кастаньеты,
подобно треску дружного костра.

IV

Как много крупных звезд горит над нами,
а на земле и вытянутых рук
своих не видишь.
Столько тьмы нагнали,
что в целом Риме — ни души вокруг.
Эй, Цицероны!
Я питомец вуза
московского.
Как здесь у вас пройти?
О черт, опять споткнулся...

Где ты, Муза!
Могла бы и до дома довести.

— Я здесь.

И вижу —
Муза в светлой столе.
Слоновой кости пряжка — на плече.
Факелоносец черный.
Негр он что ли?..
Стоит, как истукан.

— А это чей?

— Не все ль равно.

— И верно, все едино.

Я осмотрелся.
Рядом у стены
спит некто.
Спит... — знакомая картина.
О Рим, — в канавах и твои сыны.

— Не обольщайся.
Ты и впрямь хорош, —
сказала Муза. —
Он же трезв несчастный.
Попробуй с ним поговорить.
Нечасто
такого собеседника найдешь.

Он спал полвека и на полстолетья
теперь лишился сна.

— Так это он,
старик, кого описывал Варрон?

В ответ из под стены раздался крик:

- О, боги, боги! Я ничей старик...
Тот, кто, как я, не звал напрасно сон,
не все еще он ведает о муках...
Днем ты людьми зажат со всех сторон,
и устаешь —
в сплошном потоке звуков.
Проклятые разносчики кричат.
На ножках кухни —
всюду едкий чад.
Ты за угол —
в раскрытых мастерских
завоют, как зарезанные, пилы.
Бежишь — стучат вдогонку молотки.
Молю, — скорее ночь бы наступила...
А ночь...
Где сыщешь уголок укромный?
Гуляки, пьянь, шаги и голоса.
Везут в повозках камни или бревна,
и все вокруг трясет по полчаса.
О, Рим,
как я, тебя клянущий муж,
по-моему, еще довольно кроток.
О этот город с миллионом душ!

О этот город с миллионом глоток!

— А город разве виноват, старик,
что вырос и теперь не помнит детства?
Потом привыкнешь, если не привык.

— И от другого никуда не деться.
Я с шумом примирился бы,
но как
принять вотще мелькающие лица.
И не на ком в толпе остановиться,
никто тебе из них ни друг, ни брат.
Чем заняты!?
Все в поисках утех
преследуют житейский свой успех.
И радости не знают — только смех.
И бед больших не знают — только
слезы.

Лишь страх един,
поскольку гром для всех
всегда звучит нежданною угрозой.
За них решают все,
и потому
не встретишь ни гармонии народной,
ни распрей.
Каждый сам, по одному.
Им все угодно, как и не угодно...
По чьей вине так выглядят невинно?
Все страсти, чем они увлечены,
слепились наподобие стены.

Кто это?
За стеной души не видно...

-- Старик, старик,
судьба к тебе скупая.
Но все-таки ответил бы ты мне.
А женщины?
Их нет на той стене?
А женщины на ней не проступают?

-- Их разве не заметишь...
Только глянь
и не успеешь даже удивиться:
как на показ — матроны и девицы,
рабыни, шлюхи, всяческая дрянь.
Но различимы только по нарядам.
Глазами здесь хоть каждую раздень, —
и, несмотря на самый белый день,
тебе ответят любопытным взглядом.
Мне явственнее все со стороны.
Я вижу их — мне боги дали зренье.
С мужчинами сравнившись в поведенье,
они решили,
что во всем равны.
Любовные вокруг за связью связь
работаются,
к плоти лишь взывая.
Так сеть плетется, общей становясь
и город многократно накрывая.
Неведенье — завеса из завес —
хранит их от размаха всей картины,

где связаны они в клубок единый,
который ясно видим лишь с небес...
И нету сна.
За что такая месть?
Пускай тогда берет меня могила...

— Ах, Муза, Муза, все на свете было.

— Какое было, странник!
Это есть.

V

Все тем же подлежит законам тут,
все слишком просто,
чтобы быть ужасным:
и страсти,
что должны потом угаснуть,
и люди,
что потом совсем уйдут.
Вопрос — куда деваться от вопросов?
Что здесь оставить, что с собой забрать?
Ах, Муза, Муза!
Нужен мне философ.
Пойдем в Афины — там живет Сократ.

И вот опять проулок залит тьмою.
И снова те же звезды надо мною.

— Чем ночь темней, —
сказала Муза мне, —

тем странные желанья исполнимей.
Чем больше звезды —
ночь черней под ними.

Полоска света, словно щель во тьме,
открылась.

— Там Сократ. Пред нами дверь.
Увидел свет в щели?
Входи теперь.
Он рано утром ждет раба с цикутой
и, выпив чашу,
должен умереть.

— Я не монах, чтоб в крайнюю минуту
в глаза приговоренного смотреть.

-- Сократ спокойно ждет последний миг,
а к посещениям частым он привык.

Я дверь толкнул.
В темнице полумрак.
Старик сидел почти напротив входа,
напоминая чем-то счетовода
колхозного,
что выпить не дурак.
Он лысый был.
На лбу большая шишка.
Приземист, толстогуб и ноздреват.
Глаза навывают.
Добродушны слишком,

чтоб в них лукавства не подозревать.
Поднялся он, бородку теребя:

— Что, странник, привело ко мне тебя?
Смысл жизни?
Это бедствие мужское,
что ни к чему цветущему юнцу?

— Ответь мне, почему Сократ спокоен?

— Я очень стар,
мне умереть к лицу.

— А в чем смысл жизни?

— В смерти.

— Почему?

— Так от богов.

— Тогда смысл смерти?

— В жизни.

— Выходит просто:
свет меняет тьму,
тьма свет меняет —
дело в механизме?

— Но он духовен.

— Смазан что ли чем?..

— Ты не был счастлив?

— Нет, не получалось.

— Наверно, часто начинал сначала
искать, любить и мучиться затем?

— Пожалуй, да...

— Что мне тебе открыть? Что знаю я?
Мое незнание наго.
Жизнь коротка,
и нетерпенье — благо,
но и оно должно разумным быть.
Разумную уверенность я чту.
Несдержанность в своих стихиях тонет...

— Да, я читал...
Прости, еще прочту
потом,
в переложении Платона...
Скажи мне лучше, ну, а если там,
ты знаешь, где,
там, за последним вздохом,
нет ничего?

— Ответ тебе я дам:
тогда уйти ни хорошо, ни плохо.

Попробуем с тобою разобраться:
ведь разница не очень велика,
что десять лет мелькнет,
что минет двадцать?
Другое дело, если жить века.
Но жизнь кратка,
и даже больший срок,
что выпал,
не имеет преимуществ
пред меньшим сроком жизни,
потому что
и там, и тут конец твой недалек.
Важнее, как прожить...
Ты — весь в пути,
и в думах весь. Недалеко идти мне...
Меня своею смутой не смудишь,
а речь мою
ты лишь умом постигнешь...

Ах, Муза, все пред временем равны.
Но что бы о себе мы отвечали,
когда теперь
и на свои печали
сумели посмотреть со стороны?
Скорбят в утратах люди,
но заметь:
потомок, над былым взлетая птицей,
торжественной воспринимает смерть
и к плачу их не присоединится...

VI

Четыре четвероголовых
чудовища в клети ворот.
Перекричать себя готовый
цирк учащенно дышит,
Ждет,
когда с балкона магистрата
платок падет.
Собравшись весь,
цирк в нетерпенье.
Пасть разъята
в глухую синеву небес.
Все можно, и ничто не свято.

Вот вспыхнул белый знак платка
и лишь погас —
ворота настезь.
Четверки-звери разной масти
и цвет, как масть, у ездока,
низринулись на гипподром,
на землю, взвившуюся пылью.
И пристяжные, словно крылья,
распались.
Мощный рев, как гром,
воззвал утробно к мирозданию, —
как озверевшая душа,
освободясь от ожидания
и стены разума круша.
Зеленый вырвался.
То вправо,

то влево правит голубой.
Бич белый выхватил.
Любой
ценою достается слава.
Все потонуло в диком крике.
Ни обещаний, ни забот.
Никто — ни малый, ни великий.
Никто не гонит, не зовет.
Ни близких, ни любви, ни дела,
ни поощрений, ни улик.
И страха нет.
На свете целом —
один, все заменивший, крик.

Вот медленно в гнездо шестое
яйцо ушло.
Последний круг.
Цирк поднимается и, стоя,
ревет.
Рябь вытянутых рук
дрожит, вибрирует от рева.
Сейчас опасный поворот.
Цирк воет, ко всему готовый.
Что будет — то произойдет!
Возницы к краю правят круче,
чтоб сократить к победе путь.
Сейчас собьются кони в кучу,
сшибется с кем-то кто-нибудь.
Над полем кулаки вздеты.
Кто держится за жизнь свою,
где жертвы жаждут зубья меты,

оскалившейся на краю?
Гони коней! Победа близко.
И кровь почувствовав нутром,
трубит и требует он риска,
венком распятый гипподром.

Я одинок в гигантской чаше.
И трудно овладеть собой.
Всех нас накрыло ею!
Страшен
меня прижавший к стенке вой.
О, Муза, что-то делать надо!
Все нервы так напряжены.
Во мне идет процесс распада,
невидимый со стороны.
И душу застигает тьма.
О, Муза, соверши же чудо
и вынеси меня отсюда,
иначе я сойду с ума...

Мне Муза протянула руку.
Прохладною была рука.
И, как от ветра облака,
взлетели мы.
Вокруг ни звука.
Пропал куда-то дикий вой.
И я свободен.
Надо мной —
Она,
и синева — над нею.
Средь ликования и угроз

никто внизу и не заметил,
что нас поднял послушный ветер
и на глазах у всех понес.

VII

Лежу в траве высокой.
Облака
вплывают за шатер могучей кроны.
Давно такой веселой и зеленой
листвы не видел.
Да и как мягка
трава
на ощупь —
в пыльном зное юга
она и низкоросла, и упруга,
скупая и далекая родня.
Я слышу птах —
в зеленом царстве скрыты,
поют, переключаясь деловито —
и понимаю: середина дня.

Ползет жучок по тонкому стеблю,
клоня его...

Вдруг я себя ловлю
на беспокойной мысли:
Муза где же?
Смотрю, она полулежит, со мной.
Лицо, рука, в губах травинку держит.

Ткань, ниспадая, чертит стан земной.

— Мне кажется, я дома, Муза?

— Да.

Оковский лес к тебе склоняет ветки.
Но ты здесь первый,
ведь твои прапредки
еще покуда не пришли сюда.
Потом придут — они еще в пути.
Навстречу солнцу двинулись
и ищут,
где прячет светлый бог свое жилище.

— Найдут?

— Ты знаешь сам, что не найти.

Как странно...
Ведь недавно был распят
огромною, орущею толпой.
И все прошло.
И страхи мирно спят.
И вижу я — нас на поляне двое.
Наедине...
Невольная волна,
горячая, меня толкнула властно.
Вот женщина.
Полулежит она.
В ней, как реально все, так и прекрасно.
И я спросил:

— А ты всегда такая:
и чудный стан, и взгляд неизъясним,
что время, словно мимо протекая,
не в силах даже прикоснуться к ним?
Ответь.

— Вопрос, похожий на каприз.
Куда спешишь?
Твой век еще не прожит.
Но коль спросил, подумай сам:
а может,
была я в Вавилоне Нитокрис?
В Египте — Нефертити,
и гетерой
блистала посреди иных Афин?
Сапфо...
Но ты...
А ты — пока един.
Что для тебя все это — лишь примеры.
И если нет — тебе же тяжелей.
Не с жизнью, как твоя, такой недолгой
дерзать на вечность.
Силы пожалей...

Она смеется:

— Вдруг княгиней Ольгой
я в Киеве могла бы быть.

— Прости.

Опять попался...
Что же, так и надо.
Хоть душу я совсем раскрепости,
бессмертье духа, вот она — преграда.
Но пусть бы я твой гнев опять навлек,
когда весь мир, и жизнь свою, и имя
самой земли
сумел назвать моими
только с тобой...
И это все — намек,
лишь тень любви,
не истинное пламя?
Нет, и моей душе доступна высь,
которая всегда царит над нами.

— Ты переходишь грань. Остановись!..
Иной, быть может,
на ином пути,
в иных мирах...
Теперь же помолчи.

— Нет, выслушай.
А если лишь с тобой
любовь моя не будет ведать меры?
И ты любила некогда Пиера.
Был миф такой...
И я готов к любой,
любой судьбе,
когда б ты ею стала.
Я тоже в жизни повидал немало.
Как ни бессмертна, мы сейчас равны.

Я полюбил — меж нами нет стены.
Зачем тогда нам быть наедине?
Да, я люблю, и перед этой силой
хочу, чтоб все земное отступило,
как и твое бессмертие,
что мне
так недоступно...

VIII

Вокруг все и привычней, и темней.
Я говорю не ей...
Не ей, а стенам.
И комната, как маленькая сцена,
пуста.
Спектакль закончился на ней.

Ах, как подчас обманчивый порыв
тебя возносит вдруг...
Но много ль чести?
Стоишь, с двойной горечью открыв,
и то же все, и ты на том же месте.

Проснувшись, посветлел проем окна.
Верхушки кленов, что трава.
А выше —
фонарь, как будто близкая луна.
И под луной нестройный говор слышен.
В себя я постепенно прихожу.
Меня еще виденья ночи водят.

И хочется мне думать, что внизу,
как из театра, публика уходит.
Вот я опять — в свой красочный тупик.
Неужто поважнее нет заботы?
Турбина утра, прогудев час пик,
привычно набирает обороты.

Я выхожу на улицу.
Поток
/когда ты в нем, — нельзя остановиться/
идет, неся остатки сна на лицах.
Вот женщина, одетая в платок,
рабочие с тяжелыми руками,
два парня в форме со значками
«Связь».
служивые блестят в толпе очками,
студенты...
Машинистка каблучками
стучит, в стеклянный офис торопясь.

Здесь все мне близко.
Рухнула стена,
руины унесло людским потоком.
Но что это?!
Смотрю — идет Она,
мой проводник во времени далеком.
Прямая челка, водопад волос,
кокетливая сумка на отлете,
алеют губы лепестками плоти...
Но все ж — Она.
Само произнеслось:

— Вот ты какая, Муза...

А Она
взгляд темный подняла,
удивлена.

— Не узнаешь...
Скажи, кто виноват?
Кому все просто поменять местами
пред тем, как мне вернуть тебя назад?
Как будто бы нельзя без испытаний.

В ответ я слышу:

— Вредно пить с утра.
Пустите, вы становитесь нахальным.

— Ах, девушка, опасная игра:
фантазию соединять с реальным.
И все же за вопрос меня простите.
Где вы во сне и где вы наяву?

— Последний раз прошу вас,
пропустите!
Я милиционера позову.

НОЧЬ ВТОРАЯ

I

И ночь опять.
Но как она пуста,
и тьмой какой тяжелой придавило
мое окно.
Никто не крикнет: Милый!
Сомкнуло небо и земля уста.
Свет не гашу:
я скоро не усну.
Завыл бы что ли заплутавший ветер!..
Заманчивая блажь — любить одну.
Одну ее,
одну на целом свете,
чтоб первой страсти жар не остывал,
чтоб эту страсть, не обжигаясь, нес ты
и чтоб когда-нибудь не открывал:
все хорошо — но по- житейски просто.
И, поостынув, ты не ждешь чудес,
и манит случай тем, что он неведом.
Да будь он проклят, этот интерес,
за отрезвленьем приходящий следом.
Услады подвернувшихся ночей...
Что значит изменил иль изменила?
Ведь жизнь — твоя,
и сам ты — свой,
ничей.
Сам по себе исчезнешь ты из мира.
А та, что жизнь свою свела с тобой,

такую же тебе готовит участь.
Суд ревности —
какая это боль:
все понимать и сомневаться, мучась!
Что ж, как ни странно,
так оно и есть:
стремление твое к любви единой
палит огнем тебя, свершая месть.
А в небе облака плывут, как льдины...
Смешной базар,
и сколько здесь всего.
Я виноват,
но кто же ей расскажет?
Все дружелюбно — против одного,
а месть владеет в одиночку каждым.

И все же ты мечтаешь об одной,
и все же хочешь, чтобы так и было.
Зачем?
Зачем ты, Муза, приходила.
Земля — дно ночи, сумрачное дно.
Зачем реально так внушила мне,
что ты — не миф
и что необходима.
Да пусть сойдут с ума четыре Рима —
я не хочу отраву пить во сне.
Зачем пришла, чтоб не прийти опять?
Во тьме ночной ни шороха, ни звука...
Какая мука женщину терять!
Какая унижительная мука!

Но что же я?
Откуда униженье?
Как черный взгляд окошек отвести?
Приди ко мне, мое воображенье,
и эту ночь хотя бы освети!
Приди ко мне, спасительная власть,
уставшему дарующая силу,
чтоб каждая душа отозвалась,
чтоб мир звезда, сгорая, осветила,
самосожженья яркая звезда...

И слышу я:

— Свет погаси тогда.

II

Я погасил.
Светлее ночь в окне,
и сразу к стеклам россыпь звезд
приникла.
Закрыв глаза, чтоб к темноте привыкли.
Открыл и вижу:
прислонясь к стене,
стоит мужчина в светлом полотне,
сиянием окутан, словно дымом.
При свете он остался бы незримым...

— Ты кто и почему пришел ко мне?
Как звать тебя, скажи!

— Не знаю сам.

— Что сделал ты?

— Неведомо мне это.

— Послушай, странник,
созданный из света,
что привело тебя на землю к нам?
Кто ты такой
и из каких видений?
Что ведаешь ты о добре и зле?
Ответь, ты кто?

— Я самый первый гений
из некогда рожденных на земле.

— Быть может, ты до времени прозрел
и знание свое унес в могилу?
Быть может, у двери великих дел
тебя внезапно смерть остановила?
И мучишься, бессилием гоним,
с самим собою?

— Нет, я все исполнил.
Мне дан был дар,
и я пошел за ним.

— Не может быть,
чтоб ты себя не помнил.

— Что делать, жребий выпал мне такой.

Мой труд живет,
и имя позабыто.

Раз я исчез из памяти людской,
то на земле и от меня сокрыто
мое земное.

Может, первый плуг
придумал я,
зажег лампаду знаний
впервые...

Песню, треугольник, круг...

Быть может, звездам раздавал названья,
а, может быть, я первый полюбил,
и до меня так люди не любили...

— И ты... Невероятно...

Ты забыл?!

— Давно случилось это.

Все забыли.

— Постой, постой...

Тогда одно из двух:

раз память не хранит тебя земная,
и даже сам себя совсем не знаешь,
то это значит —

ты бессмертный дух.

Ты смертному обидно краткий век
и смыслом, и значеньем наполняешь.

Ты — океан, создавшийся из рек.

Разумное начало всех трудов,
судеб земли вершитель многорукий,
ты — двигатель машин и городов,
душа любви, искусства и науки,
начало прошлых и грядущих сил...

— И вот теперь тебя я посетил,
чтоб знал ты обо мне
и был мне верен,
коснулся изначальности моей.
В глухую ночь твои открыты двери.
А раз открыты — значит жди гостей.
Хочу я, чтоб живительная сила,
когда-то бушевавшая во мне,
тебя с моим приходом осенила,
и ты с гостями стал бы наравне,
чтоб равная в устах рождалась речь,
достойная высокого таланта.
Я все сказал.
Теперь ты должен лечь.
Готовься,
ты сейчас увидишь Данте.

III

Смыкаю веки я и не пойму:
как будто нет опоры подо мною,
и опускаюсь медленно на дно я,
как в неизвестность,
погружен во тьму.

Меня куда-то, кажется, несут,
и не понятно положение тела.
Как будто совершился чей-то суд,
но приговор не сказан.
До предела
напряжены все клетки, и озноб
противною волной прошел по телу...
Мне кто-то руку положил на лоб
с платком прохладным, волосы поправил...

Открыл глаза,
не щурясь от огня, —
сидит мужчина на постели с краю
и долгим взглядом смотрит на меня.
Озарено все снова ровным светом.
Он мне по встрече с Музою знаком.
Мой гость,
в накидку длинную одетый,
сидит, увенчан лавровым венком.
Морщины, нос с горбинкою,
виски
подернуты искринками седыми.
Взгляд темен.
Опустились уголки
поджатых губ,
как будто знак гордыни
неутоленной...
Я же, как больной,
почувствовал спасительную слабость.

— Твоя болезнь, мой сын, совсем

как королю державу,
земля тебе любовь твою должна.
Ведь обязательств не брала она?
И пустоту почувствовав в груди,
всердцах земле протягиваешь руки:
не можешь дать, тогда освободи
от странных мук...
Зачем все эти муки?

— И что же, ты свободу выбираешь,
где жребий одинаково хорош:
жить, словно каждый вечер умираешь,
жить, словно ты и вовсе не умрешь?

— Нет, Данте, то иная область числ.
А так...
Порыв души бывает острым,
и к женщинам относимся, как к сестрам,
и слово это знает новый смысл.

— Коль нет святой, кропи простой
водой?..

А я хотел —
иначе не умею, —
чтоб новая любовь моей звездой,
родившись на земле, взошла над нею.
Предназначенью верен своему,
хотел я, чтоб звезда моей любимой,
зовя к себе,
была б недостижимой,
и всем принадлежала потому.

— Любить лишь совершенство,
идеал...
Нет, столь святым я, Данте, не бывал.

— Но по земле любовь меня вела.
В руке моей
ее держал я руку.
И не глушил сознанья рокот зла,
и сладкою была скитальцу мука.
Я всюду чтил избранницу мою,
насущного не видя черствость хлеба.
И свет ее вознес меня на небо,
и я соединился с ней в раю.

— Прекрасно, Данте!
Только я причем?
Ясна мне важность твоего совета.
Но у меня ведь, Данте, неба нету,
и я на землю только обречен.
Ведь я моею смертностью раним.
Бессмертие -
удел гранитных кукол.
Нет неба.
Надо мною синий купол,
и пустота кромешная за ним.

— Лишенный благодатной из утех,
ты голоса небесного не слышишь.
Скажи, мой сын,
тогда о чем ты пишешь?

— Я о себе пишу — пишу для всех.
И мне моя любовь нужна теперь.
Теперь.
Иначе просто опоздаю.
Пусть вечно древо жизни,
опадая,
листва о том не знает...
И поверь:
не выдумаешь муки самой малой,
не сотворишь невиданного зла,
такого,
чтоб земля не испытала,
такого,
чтоб стократно не прошла.
И души жаждут здесь,
а не в раю,
весь путь земли имея за плечами,
высокою,
без тягостной печали,
своей любовью
жизнь объять свою.
Но не судьба...
Не то, чтоб не везло:
земля вокруг, как на глазах, умнеет,
и только быть счастливой не умеет.
Ей не знакомо это ремесло.
Еще не научилась.
И боюсь,
что мне, пожалуй, хвастать тоже нечем.
Я в этом главном из противоречий

в самом себе
никак не разберусь...

IV

За окнами родился странный звук.
Не различить:
ни музыка, ни пенье.
И слитен он, и длится, как ступени,
звучащие,
или движенья рук,
производящих музыку.
К окну
летит волнами.
И подобна сну,
его неуловимая реальность,
как передача мыслей или чувств
без помощи произносящих уст,
когда значение не имеет дальность.

Звучащая материя,
живая.
Я постигаю смысл, не слыша слов:
«Мы, молодость убитая,
взываем
к живущим на земле.
Мир вечно нов,
но — вечно будет излучать и слышать
минувшее
и наши голоса.

За вами фронтовая полоса,
и тысячи на ней почти мальчишек
лежать остались,
не переступив
за край ее,
к вам, нынешним, не выйдя,
не чувствуя, не слыша, и не видя,
собою — самым ценным заплатив,
всем тем,
что не пришло к ним в свою пору,
не совершив своих житейских дел
и не познавши чуда женских тел,
не ощутив душевного раздора,
который бы им зрелость принесла,
и вечером, такого-то числа
не ведших,
пусть пустые, разговоры.
И как бы далеко вы ни ушли,
участвуя в истории земли,
услышите вы наши голоса.
За вами —
фронтовая полоса».

На голоса к окну я подхожу.
Земля сокрыта — под покровом странным.
Насколько видит глаз,
она внизу
устелена светящимся туманом.
И небо над такой землей черней,
и звезды словно ниже и крупней,
и сгустками мерцающих огней

отражены,
как в зеркале, на ней.
Дыханье затаив, стою над ними
и чьи-то различаю в них черты.
Они полупрозрачны и чисты.
И облики, чем далее, тем зримей.

Вот сгусток света, отделясь от них,
легко взлетел и в комнату проник.
И вижу я:
стоит передо мной
войны минувшей
Неизвестный воин.
Он так и не расстанется с войной,
он так и будет жить последним боем.
Но не поблек на форме цвет защитный.
Как могут только новые, звенят
ремни на гимнастёрке, ладно сшитой.
Он с интересом смотрит на меня.
И силюсь мы с ним узнать друг друга,
и понимаем, что не узнаем,
что память наша, —
словно темный угол,
и каждый замыкается в своем.
Но вот взглянул он.
Протянул мне руку:

— Встречай, теперь и я к тебе пришел..

И молча мы садимся с ним за стол.
И за окном, во тьме смолкают звуки.

— О чем ты думал?

— Омск я вспоминал.

Я помню лица всех,

но имена

утратились.

Как безымянно детство

пред именем единственным —

Война.

А в жизни есть всему своя цена,

условная пускай...

Но — приглядеться,

хоть на мгновенье посмотреть назад:

там, за тобой, убитые лежат.

И кажется Земля гигантской чашей

весов.

И все, чем мы окружены,

все, что употребимо в жизни нашей,

не может осознать своей цены,

перед которой все и все равны —

от малого до самого большого —

один имеют бесконечный вес:

и жизнь сама, и хлеб, и интерес

к чему-либо, что делаешь с душою,

вниманье женщин,

вера в красоту,

все, что тревожит нас,

все, чем согреты,

вино

и даже дым от сигареты,

чью горечь ощущаешь ты во рту...
Вот так недостижима скорость света:
обычное, что окружает нас,
все на поверку —
беспредельность масс.
За это расплатиться невозможно.

— Не дай владеть тобою мысли ложной.
Остановись перед значением слов.
Цены не знает пролитая кровь.
Поэтому сопутствует ей вечность.
Лишь согласишься:
жизнь вообще конечна —
тобою тут же овладеет страх.
Но вольно или нет
тебе присуще
все, что ты помнишь, сопрягать
с грядущим,
чтоб длиться, изменяясь, и в веках,
как жизни вновь истоком служит жизнь,
как кровь твоя течет в прямых потомках.
И ты, уйдя, услышишь: «Отзовись!..»...
Пускай родство теряется в потемках,
и прадедов припомнить мудрено.
Но всем живым движение дано.
И если даже труд твой безымянен,
как холмик на заброшенной поляне, —
в руках других он обретает высь.
Грядущее нам кажется высоким.
Всем лучшим
все мы кровно с ним срослись.

Цена порыва —
это прежде смысл,
смысл,
длящийся неведомо далеко.

— А полюбить успел ты?

— Нет почти...

Мне не пришлось.
Все, что со мною было,
со временем легко бы отступило
пред тем, огромным,
что могло прийти.
Не только я...
Род оборвался мой.
Кто угадает, что покрыто тьмой?
Судьба, всему садовник своенравный
ветвь срезала.
В трехтысячном году
вселеннолет на световом ходу
изобретет не мой далекий правнук...
Но и безумна жажда воскресить
несбывшееся...
Хватит нам про это.
О чем бы ты хотел меня спросить?
Повеселей...
Есть время до рассвета.

— Пускай в вопросе мало глубины...
Скажи, боится собственной жены
мой друг-солдат,

хоть ссорится он с нею.
Начальства тоже...

— Жизнь сильнее войны.
И мир войны значительно сильнее.

V

Взметнулся над востоком первый луч,
сломавшись на краю ленивых туч.
Но это начиналась лишь игра.
Венчая землю утренней короной,
посланцы животворного. Костра
вновь вспыхнули.
И зазвенели кроны,
встречая их, на птичьи голоса —
и сквер внизу,
и ближние леса.
И дальше продолжались чудеса.
Лучами обозначилась фигура
знакомая...
Кричу:

— Гагарин!.. Юра!..

Соломинками свет в его кудрях
запутался.

— Так и живешь, летая?

— На самых современных кораблях, —

ответил он.

Лучи веселой стаей
несли его.

— Гагарин, как-нибудь
дай прокатиться...

Он успел взглянуть
и улыбнулся:

— Дам...

И как на зло
край солнца показался.
Рассвело.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

I

Прохладный воздух и с бензином
свеж.
Пустой трамвай спешит, гремя по кругу.
к густой толпе
Я всматриваюсь: где ж
моих ночей случайная подруга,
забывшая меня при свете дня.
Толпы поток бурлит, тесня меня
к нарядным манекенам на витрине.
Да, время непригодное для встреч.
Стоишь — помеха утренней лавине.
Вознесена над ней,
как некий меч
стрела часов,
склоняясь к половине
девятого.
Я жду.
Но где ж Она?
В свой срок в толпе свои мелькают лица.
Меч на часах качнулся.
Появиться
когда-нибудь ведь и она должна.
И вдруг притоком из-за поворота
внесло ее сюда,
на главный путь.

— Красавица, — я к ней, —
случилось что-то?
Или решили лишнее вздремнуть?
А я боялся, что вы заболели...

— Мне думается, сами вы больны.

Но не уходит.

— В этом бедном теле
все чувства — в состоянии войны.
Увы, без вас, прелестное создание,
желанный мир не посетит меня.
И я прошу, колено преклоня,
позвольте мне назначить вам свиданье.

Она смеется с явною охотой:

— Зачем тогда про музу и красоты
словесные?
Сказали б все, как есть... Согласна.
У метро «Таганка», в шесть.

II

Наложен позитив цветных окон
на полотно летящего тоннеля.
Легко заметны,
краски побледнели,

остекленев, — мне слышен даже звон.
И лишь огни во тьме стекла яркие.
На брюхе потолка,
приблизясь к лицам,
один на группу,
свесились соски
светильников.
А полотно все мчится,
назад по отраженьям,
в никуда.
По ликам и отчетливым, и слабым.
И бесконечны,
словно на ухабах,
пускаются вприсядку провода...

Пускай несутся.
Ведь со мной Она.
Смущенная под очень долгим взглядом
и им ото всего отстранена,
как будто никого нет больше рядом.
В ее глазах мелькает тень стыда.
Но я смотрю,
я не смотреть не в силах.
Свет этих глаз, испуганных и милых...
Бог весть за что попавшая сюда,
Она стоит, безмолвно мне внимая,
почти доверясь,
но не понимая,
что значит это внятное:
Свети!
Но и ее волнует пантомима

невольная...
Мы проезжаем мимо
той остановки, где должны сойти...

И за окном опять висят огни,
и раскатясь, колеса загремели.
И, как недели, — темнота тоннелей,
и залы станций —
выходные дни.
Тогда пусть будет полное кольцо.
И я готов им обручиться с нею.
В сиянье глаз открытое лицо.
Как дивно щеки вспыхнули, краснея.
Благословенно красноречье рук!
Она смела.
Ее порыв не меньше...
И вот передается он вокруг,
сначала освещая взгляды женщин.
И удивленно вспыхнул взгляд мужчин,
чувствительный к чудеснейшему полу.
Во все три двери сразу дерзкий джинн
как выдохнут на станции.
И девой
звенит, заволновавшись, мегафон:

— Не бегайте и проходите слева!

И что же джинн?
Наверх стремится он,
по лестницам,
из-под земли,

Где ж теперь меня искать?
Теперь и первый будет самозванцем...
Нет ни больных смирением,
ни глянца
самолюбви.
Во всех такая стать!
Как непохожи, как прекрасны лица,
когда они одухотворены.
Семь миллионов гениев в столице,
на семь холмов,
с семи сторон страны.

Грех — сдаться повседневности.
Стократ
на празднике грешно не отключиться.
Ведь у тебя —
что там ни говорят —
зрачки - брильянты,
пусть в один карат.
Объявлен небывалый маскарад:
на каждом —
только собственные лица!

Что жизнь свою вести, как роль
на сцене,
написанную бытием твоим?
Ты сам не меньше, чем реальность,
ценен,
поскольку, как она,
неповторим.
Она вернется — прерванная роль, —

но не уйти от внутреннего спора.
Остался хмель,
да и пройдет не скоро.
И цепко держит головная боль
на грани бунта против режиссера.
По крайней мере, выходя из воли,
талант сверкнет
и в той же самой роли,
и тесным станет жизненное поле.

IV

Безумна ночь.
Москва сошла с ума.
Бурлит меж стен стихия карнавала.
Похожих лиц в толпе, как не бывало.
До самых звезд подкинули дома
балконы, словно каменные брови.
Как правит чувство
взглядом, жестом, в слове!
А раз душа открыта, как ладонь,
то сердце к сердцу
путь находит просто
по индивидуальнейшему гостю,
и вспышки встреч сошлись в сплошной
огонь.

Как бешеные, счетчики любви
записывают эхо попаданий
сердец в сердца,
прилив тепла в крови

и делят на два,
счет ведя свиданьям.
А войско в войско мечет тучи стрел.
И те, кто безнадежно отгорел,
себе дивясь,
почувствовали сами,
что кружится, став легкой, голова.
На вход в метро похожа вся Москва,
как будто целый город —
под часами.
А женщины —
всевластно естество,
все красящее мыслью лишь одною.
Любить...
Я понимаю, отчего
деревья пробуждаются весною.
А женщины...
Исходит свет от них.
Послушны божествам своей природы, —
и пестрая листва одежд цветных
не в силах спорить с красотой плода,
Куда ни глянешь, замирает дух.
Кто научил их музыке движений?
Звучанье тел.
И нет похожих двух,
и каждое являет отраженье
единого...

А я тобой пленен.
Где б ни была,
везде тебя я вижу.

Стань хоть звездой —
твой свет ко мне всех ближе,
и потому все заслоняет он.

V

Без шествий не бывает карнавала.
У карнавала есть рабочий цех...
Порывом ветра докатился смех —
нестройный гул толпы заволновало.
Взлетели крики чайками:

— Несут!

Наш карнавальный,
наш веселый суд...
А смех подрост—
трубит раскатом грома,
как издали,
прикрыт заглушкой дома,
из-за угла.
Но вот прорвался он
на площадь.
Загремел — и с трех сторон
к нему — три треугольных клина смеха,
как будто бы искусственное эхо.
Меж клиньев
персонажами из сказки, —
как облака, громаднейшие маски.
Над морем лиц.

Плывет житейский страх,
слепившийся в большой из мелких
страхов.

Вот, с молоком, подсохшим на губах,
проносят глупость, круглую от ахов.

Вот самая довольная из дур,
вплывает вездесущая халтура.

За нею маска — суррогат культуры,
вся в глянце, как столовый гарнитур.

Безумие с больничным блеском глаз,
в которых пламя мечется тупое, —

оно выходит и на этот раз
из мертвой петли тяжкого запоя.

Вот маска добродушного совета,
который ничего не стоит дать.

Духовной лени маска.

Маска эта,
она, известно, — всем порокам мать.

Под знанье зачехленный примитив,
как будничнейший,

как простенький мотив,
что громогласность обретает в хоре.

Давай, мол, факты —
хватит с нас теорий.

Одни и те же, вроде бы, слова:
на деле же —

кто в лес, кто по дрова.

А вслед за ним —
на крутобоком ложе

овальный, словно зримый пуп земли,

простой макет номенклатурной рожи,
что сами над собой мы вознесли.

А дальше —
пронесли унылый круг,
наш, замкнутый,
знакомый, как недуг,
то, отчего и поднимаем ор мы:
отдушину пробейте.

И — с концом...

Любовь и экономика.

Ре-фор-мы!

Реформы с человеческим лицом.

Затем часы...

И стрелки, как на блюдах.

Картонной цепью связаны, бредут,
лениво, словно караван верблюдов.

И время их ни здесь, ни там, ни тут
не совпадает.

А часы идут.

И, злясь, как из единой своры псы,
все стрелки тычут в точные часы,

часы,

что над толпой вознесены,

и тикают,

не чувствуя вины, —

горящий в небе циферблат луны...

И смех гремит раскатисто, навзрыд.

А самых юных косит он рядами.

Чего бояться, если ты открыт?

И как не статься рыцарем при даме?

VI

Видение?
Я сразу не пойму.
Комедия переступает в драму.
И впрямь явился дух Прекрасной дамы,
чей облик виден мне лишь одному.
Возникнув над толпой, парит она.
Все та же Муза,
из мечты, из сна.
Среди реальных отблесков и красок
печальная,
хоть взгляд и не потух,
идет, как подневольный,
но Пастух
за стадом наших маскарадных масок.

VII

Парад закончен,
но осколки смеха
звенят еще у каждого угла.
А праздничная ночь теплым-тепла,
окутанная тьмою, словно мехом.
И пламенеют броши фонарей.
А травы в скверах пахнут все острее,
как будто в поле...

Слышатся гитары.
Распалась площадь — тысячи на пары.

Один чудака лишь вызывал улыбки,
бродя, обнявшись со своею скрипкой.
Но кто-то попросил его:

— Сыграй!
Что взаперти свою содержишь донну?

Он вздрагивает,
словно видит край
обрыва,
даже пропасти бездонной.

— Сыграй, приятель, это будет кстати.

Расслышав, наконец, смутился он.

— Играй, играй, профессор.
Мы подхватим.
Эй, кто еще здесь в музыке силен?

Слегка пожал плечами он и сник:

— Как мне играть?
Я только ученик.

— Играй!

Несут на площадь инструменты,
как в складчину еду за общий стол:
кружковцы клубной музыки; студенты
больших и малых музыкальных школ;

с гитарами косматые ребята,
что не знакомы даже с нотой до;
с сединами и без лауреаты
всех самых разных премий — от и до.
Оркестры теле-, радио, эстрады,
Большого...
Малых больше пятисот.
И вся эта гигантская армада
на площади построилась и ждет.

— Играй, играй!

Он скрипку в руки взял,
и целый город превратился в зал.
Шум сразу стих,
оборвались и крики.
Он долго медлил,
опустил смычок,
припав щекой к безмолвствующей
скрипке,
став более, чем прежде, одинок.

Вот он струну задел смычком.
Звук был щемящ и не знаком.
И прост, как назначенье хлеба.
Луны разросся желтый ком,
перехватив дыханье небу.
О ком он?
Да о тех, кто были,
о тех, затерянных во мгле,
о миллиардах, что любили

на этой маленькой Земле.
И засиял экран небес,
меняя краски.
В мире целом — лишь голос скрипки,
мир исчез,
расставшись и с душой, и с телом.
Он воплотился в скрипача.
И скрипка,
строй времен наруша,
то заклиная, то крича,
из бездны вызывала души.
И сонмы их из самой тьмы,
из самой непроглядной дали
заговорили:

— Это мы,
безвестные, любя, страдали.
А сколько не свершено,
легло песчинками в пустыне,
что жертвами принесено
как будто бы чужой богине...

Магический смычок маэстро,
его желанный произвол
такую бурю произвел...
В глухих рыданиях оркестра
забилась площадь.
А скрипач,
внезапно прерывая плач,
застыл в преддверии финала.
И музыка одна стенала.

Но вот смычек опять взлетел,
сын смертного с бессмертным споря.
И сам скрипач без слов запел,
самозабвенно скрипке вторя.
И был внезапен этот гимн
Любви —
началу всем началам,
она заветным, дорогим
к себе всех смертных приобщала.
Скрипач играл,
и торжество,
как отзвук, в каждом сердце пело.
Он душу возвращал и тело
всему, что слушало его.

VIII

И вот одни мы.
Полукруг окна
зияет, словно маленькая сцена.
Бутылка недопитого вина
громадной тенью падает на стену.
Мне виден дом напротив,
самый верх,
где шапками во тьме —
цветная пена —
вдали, над крышей, тает фейерверк.

Светло, как ночь ни поднимает ворот.

И мнится:
нас до дома проводив,
по-прежнему гуляет свадьбу город,
шумит,
вдвоем оставив молодых.
Играет пламя в небе то и дело.
Она взглянула, тянется ко мне.
И, повторяя фейерверк в окне,
меня краски,
вспыхивает тело.

ДЕНЬ ВТОРОЙ

I

Висит голубизна полуседая
от дымки, затянувшей небосвод.
Машина, неуклюже приседая,
визжит, внезапно убавляя ход.
Садовое кольцо гудит надсадно,
над Самотекой выгибаясь в мост.
Наделены машины чувством стадным:
бок о бок катят,
тычут мордой в хвост.
Дорога, как гигантская змея,
к домам не подпускаемая бровкой.
От шин машинных стерлась чешуя.
Но прямо поднимаются головки
трехглазые:
зеленый, красный, желтый.

Каким ни встанешь,
но невольно зол ты:
и гарь, и гром, и визг, и толчея.
А выйди в этот круг, пройди немного —
дневные складки на чело легли...
Кудрявятся деревья у дороги —
остатки прежних локонов Земли.

II

День, —
как похмелье тяжкое с утра.
Куда смели остатки карнавала?
Когда он был? Вчера?..
Нет, не вчера...
Но странно, что его как не бывало.
А что же я —
часть карнавальской ночи?
А я?..
Не знает радость одиночеств.
День отрезвел — я снова одинок.
И вытолкнув, прижал меня к стене
людской поток.
Куда я взгляд ни кину:
навстречу сотни лиц летят ко мне.
Но оглянусь —
все спины, спины, спины...

— Бегущие, что кинулись искать,

не видя ближних,
хоть глаза открыты?
Все тащат свои души, как корыта,
которые боятся расплескать.
Вглядитесь!
Я тот самый запева
недавнего, большого карнавала!

ПЕРВЫЙ ПРОХОЖИЙ:

— О чем вы, гражданин?
Ночь карнавала?
Вы извините, кажется, была...
Теперь, товарищ, ждут меня дела,
и времени для разговоров мало.
Он выскользнул, как из руки обмылок,
и побежал,
лишь показал затылок,
закрытый волосами, как чадрой.
Я продолжаю — слушает второй
прохожий.

— Каждый чем-то интересен,
есть люди интереснее других.
Пусть говорят.
Но надо слушать их.
Без этого мир человека тесен.

ВТОРОЙ ПРОХОЖИЙ:

— Дружище, ты поссорился с женой?

Все эти дуры хороши на ложе.
Ты думаешь, считаются со мной...
Не понимает?
Плюнь, себе дороже.

Он плюнул и нырнул в людской поток.

— Послушайте!
Я не паяц без грима.
Не выслушавший исповедь — жесток.
Внемлите мне,
ведь был я в древнем Риме
и многое поведать вам бы мог.

ТРЕТИЙ ПРОХОЖИЙ:

— Вы говорите, — Рим?
Который? Древний?
Эк, невидаль — наверное, деревня.

— Я — тоже мир...
должно войти в привычку
общение миров...
Должны же мы...
Ведь вспыхивают мысли, словно спички
во тьме...
А спичкой не осветишь тьмы.

ЧЕТВЕРТЫЙ ПРОХОЖИЙ:

— С утра не трезв.

Здоровья-то не жалко.
И кто такой ты, чтобы всех корить!
Про что ты здесь кричал?
Про зажигалку?
Чем злиться, дал бы лучше прикурить.

— Внимать другим — потребность.
Уголок
души,
куда вы заглянули,
светел...

Я замолчал.
Никто и не заметил,
что захлебнулся этот монолог.

III

Рев двигателя походил на крик.
Мотор забился,
перехвачен спазмой.
Не выдержал приезжий грузовик,
и встал он,
неестественный и праздный.
По улице цепная дрожь прошла,
и сгрудились железные коробки —
на площади образовалась пробка
и, словно бесконечный ствол, росла.
Вот он пускает ветви в переулки,
как древо, что составлено из дров.

Моторы стихли, и сигналы гулко
заголосили,
превращаясь в рев.
И кажется:
передние коробки
подобием канатного конца
оторвались,
уносятся от пробки
и в хвост встают с той стороны кольца.

IV

Вновь тронулся поток машин, ворча
на темное, убогое искусство
случайного дежурного врача —
не сразу грузовик привел он в чувство.
Но обошлось...
И мне полегче стало,
хотя и оглушенный, и усталый,
по-прежнему стою, прижат к стене.
Неслышно некто подошел ко мне,
плеча коснулся:

— Говорили что-то недавно вы?
Послушал бы с охотой.
Большой любитель я до всяких штук..

Как будто бы накинули на сук
пиджак,
над ним листом осенним — кепка.

И сух, и худ, но жилистый на вид
и на ногах стоит довольно крепко,
что кажется в асфальт немного вбит...
Престранный типчик...

— Но, простите, кто же
вы будете?
Я с кем имею честь?

Он кепку тронул:

— Главный здесь прохожий.

— Не понял...

— Ну... В любой квартире есть
ответственный квартиросъемщик.
Он
со всеми равен вроде бы,
но все же...
Теперь понятно?
Я, как все, прохожий,
но только главный.
Тем и наделен.
Я слушаю, давайте.
Все равно
вам надо до конца отговориться.
Душа, она большая мастерица,
но с кем-то нужно ей распить вино
ее перебродивших откровений.
Плесните мне.

Я соглашусь — вы гений.
Хлебнем — подружим, как заведено...

— И разбежимся, встретившись однажды,
а в памяти — темно, как у скотов?

— Не стану врать, что я умру от жажды.
Но вам-то что?
Я с вами пить готов.
Плесните, уважаемый.

— Чего?

— Что посветлее.
Надо ж похмелиться.
Свети, души священная водица.
День в трезвость впал,
расшевелим его.
Примите предложение, как от друга.

— До радости дорвавшись, перепил.
Теперь в груди томится прежний пыл,
и ребра мне сдавило всей округой.

— Зачем кричать? Давайте, по душам...
Никто не слышит — это ли потеря?
Ты мне откройся —
я всему поверю.
И в свой черед тебе откроюсь сам.

— Напиток твой не нов и способ старый...
Цена душевных чаяний твоих:
служить друг другу вроде санитаров,
распив украдкой радость на двоих.

— Не прячься, а приятельски, по-свойски.
Меня ты разговором растревожь,
и с другом ниспровергну я что хошь.
Увидишь — разгоню любое войско.
На людях не получится...
Вдвоем...

— А как отговоримся, отпоем,
любитель песен,
этот добрый гений...
С певцом застолье — род отдохновений.
Отпели — и в привычное, свое.
В ревнители искусства? Вовсе нет.
В прислугу
или прямо в лицемеры...
И правда, говорят, что восемь лет
не дожил Меценат до нашей эры.

— А дожил —
мы сейчас бы на троих.
Я компанейский, надо сбегать — мигом.
Что на меня уставился?
Ты псих?

— Иди, гуляй, духовный прощелыга...

Он кепку приподнял и был таков...
Лавируя в потоке облаков,
к зениту солнце шло,
как будто к месту
своей работы...

НОЧЬ ТРЕТЬЯ

I

Все тою же проселочной судьбою,
как прежде, наделяет русский бог —
и столько оставляешь за собою
разбитых и заезженных дорог.
И ощутив порыв к общению жгучий,
ты вырвешься из собственных забот —
сведет судьба,
как станционный случай,
лишь с тем,
с кем в этот раз она сведет...

Наш Дом коллег в полужилом убранстве.
Пыль серебрит сукно парадных штор.
Сошлись мы,
как на постоянный двор,
всяк из своих,
ему присущих странствий.

БЕЛЛА АХМАДУЛИНА:
«Ах, если б можно было не всерьез,
хоть на момент,

как перемена в школе...
Все - некий крест:
и воля, и неволя.
Из пекла строк, да прямо на мороз
безмолвия.
И там, и здесь мы наги.
Остыв, душа не тянется к бумаге.
Не пишешь — мука,
пишешь — сотни мук.
А глаз не спрячешь от бессильных рук.
Но главное,
что ты кому-то свыше,
едва-едва пробудишься от сна,
взываешь:
«Я полна пороков.
Слышишь!
Смотри, я недостойна и грешна.
Беспомощна —
добро во мне непрочно.
И мне с собой не справиться одной.
Виновна в том, что делаюсь дурной,
и в том,
что, как ребенок, непорочна".

НИКОЛАЙ РУБЦОВ:
«Когда в душе наступит тишина,
замкнутся в снах тревоги и заботы, —
молчание отхлынет, как волна,
и обнажит во времени пустоты.
И ты один,
и в этой тишине

ни с кем не слиться,
не забыться телу.
И сам ты удивляешься, как смело
остался с тишиной наедине.
Стоит она,
тебя в себя вобрав.
Хоть крикни — ничего нельзя нарушить.
Ты чувствуешь,
что рядом — души трав,
реки, деревьев,
старых песен души,
душа полета и душа мгновенья...
Колдун,
чужой внимаешь ворожке.
Все это прикасается к тебе,
хоть и не уловить прикосновенья».

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ:
«Что грустно так —
сидим ведь не за чаем.
Вино не стынет,
я еще налью.
Мы души человечьи изучаем,
как будто атлас, развернув свою.
Так выпьем же, друзья, за этот труд,
за сонмы душ,
что завтра снова ждут!
Потом свершим свое - не жаль труда.
Когда уйдем,
построив наше зданье,
пусть вслед нам долго смотрит,

как всегда,
читатель, приходящий с опозданием...».

II

Мы распалили разговор початый
в большой костер,
чтоб дольше не погас.
И, задержавшись, посмотрел на нас,
в беседу не вступая, Наровчатов.
Стоит войны минувшей капитан —
и воздух опален иными днями,
и память,
что ступает по пятам,
незримо крылья вознесла над нами.
Мальчишески подтянут, двадцать лет...
Я помню это фронтовое фото.
Опять смотрю,
а — капитана нет.
Где он стоял,
другой проходит кто-то.

III

Таим слова,
и стены вправду глухи
и слепы там,
где мы обнажены.
Что — вместе мы?
Томление о духе?
Благой призыв таинственной Жены?

Куда приводят все мои хождения?
И где всеобщий тот переворот?
Мы — некая предтеча Возрождения,
а в сущности, — компания сирот,
пирующих за вытертым столом
казенной тряпкой
в лоне общепита,
где столько в азарте перепито
и столько перепето о былом,
откуда мы...
Но вот пойдём куда?
Бери суму - опять зовет звезда.
Мы звездные,
когда себе открыты,
когда пора бежать из общепита.
Но дальше что?
И сколько моего
в Грядущем?
И оно — не наваждение?
Конечно, все мы дети Возрождения.
Конечно, Возрождения...
Но чего?

ДЕНЬ ТРЕТИЙ

I

Как трудно приходить в сознание...
Крепь
убрали —
ни земли, ни небосвода.

Все смещено,
внезапная свобода
повисла, как оборванная цепь.
Как будто чуждый мир тебя окутал...

Расслышал я, мне говорит Она:

— И все-таки меня ты с кем-то спутал.
Ошибся ты,
но в чем моя вина?
Куда смотрел, меня однажды встреть?

— Мог перепутать, если бы на свете
вас было двое.

— Разве я одна?

Что Ей известно?
Что таит Она?
Меня пронзает суеверный холод.
Что если вправду этот мир расколот,
и двойственность к единству сведена,
поэтому скрывает, как стена,
все сущее?..

— Что значит не одна?

— В твоих глазах могла б я стать другою.
Создай меня
той, что тебе нужна.
Любой ценою, самой дорогою,

хоть и опять из своего ребра.
Смотри, сама пришла к тебе с повинной,
хоть невиновна.
Пусть я буду глиной
в твоих руках,
пусть будет к нам добра
звезда любви.
Освободи от груза.
Ты звал меня — я за тобой пошла,
все, что могла, тебе я принесла.
Теперь бы мог назвать своею Музой.
Но ты все что-то ищешь и зовешь,
и в это что-то я войти не смею.
Любить, утешить,
что я не умею?
Где кроется во мне земная ложь?
С тобой не разделить твои потери —
неужто эта участь не страшна?
Создай меня, создай!
Тебе я верю
и верую
в то, что тебе нужна.

Я побежден.
Ее любовь права.
Я побежден любовью, той, что силу
должна давать.
Она, как жернова,
в прах все мои порывы обратила.
Я подбираю жалкие слова,
как будто бы осколки вазы с полу.

Горсть звонких слов расхожего помола...
А истина — она не такова.
И должен я ее произнести,
не прячась за правдоподобной ложью:

— Любимая, прости меня, прости.
Сам припадаю к твоему подножью.
Любимая, прости, я не могу.
Ни дара я не чувствую, ни веры.
В гордыне всем я задолжал сверх меры.
Теперь еще и пред тобой в долгу.
Дерзать...
Для самоистязанья плети
не выдумает лучше сатана.
Прости, мне эта сила не дана,
пусть даже есть она на белом свете.
Но низки своды видимого неба...

— И ты меня прости и успокой.
Раз не дано, тогда бери такой.
Бери...
Однако большего не требуй.

II

Мир видеть сквозь его же пелену.
И слепы заблуждения, и глухи.
Сознанию надоело быть в плену.
Сознанию...
Что тогда сказать о духе?
И что мой разум?

Перед кем он чист?
К чему он невозможному стремится?
Вот заработал он —
исписан лист,
а ты...
Ты так и хочешь сжечь страницу...
И этот странный зов небытия.
Мысль о прыжке из собственного быта
смущает нас,
ненужная, ничья,
как будто кем-то среди нас забыта.

III

О, Муза, Муза,
где твоя рука?
Считала, верно, ты, что я сильнее...
Присниться и опять уйти в века.
А жизнь...
Пускай свой мир парит над нею?
Бессилие — не самый смертный грех,
и, может быть, простителен,
но тяжек...
Став грудюю исписанных бумажек,
лежат листы, сулившие успех
у божества...
О, Муза, не оставь!
Сильней других — прекрасная отравка.
Но почему?
И кто писал устав,

на большее мне не дающий права?

ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

I

Звонок... Но кто?
Я никого не жду.
Могли б предупредить из чувства такта.
Иду, пиджак накинув на ходу,
Раздельно зацепив ногами тапки:
у кресла левый, в коридоре правый.
Шагаю открывать, как на расправу.
Какого черта!
Чтоб ты занемог!
Предупреди, хотя б один звонок
по телефону,
сделай одолжение...

Вдруг сам собою щелкает замок,
как будто уловив мое движение.
Дверь отворилась —
на пороге черт.
На нем ни тряпки — хвост, рога, копыта.
На крупных ляжках козий мех потерт.
Пупок большой и темный.
Но завиты,
ухожены волосья между рог.
Тогда бы и рога почистить мог...

— Темнейший, ты ко мне?

Совсем без свиты?
Скорей входи — заметит кто-нибудь.
В таком-то виде...
Ведь вокруг соседи.
Вон дверь — сотрудник опергруппы Федя.
Не мог себя хоть в тряпку завернуть?
Принял бы вид работницы госстраха.
Билеты б лотерейные принес.
Ну, что стоишь, как будто бы прирос?

А он:

— Другой бы хлопнулся от страха. —

И юркнул в дверь.

Я тут же дверь закрыл.
И только здесь дрожь обнаружил в теле.
Гляжу — черт развалился на постели.

— Еще бы не хватало черных крыл... —
ворчал я, не сумев остановиться.

— К чему мне надевать чужие лица?
Вы впали в поклоненье естеству.
Давай натуру —
прямо мор повальный.
Хватаете во сне и наяву
все, что угодно — лишь бы натурально...
Вторичное не натурально?
Кукиш.

Теперь вас на синтетику не купишь.
Так вот он я, перед тобой, открытый.
Как в добрые былые времена,
все натурально —
шерсть, рога, копыта...
Подписывай.

— А какова цена?

— Сойдемся...
Ты товару знаешь цену.

— А что взамен?
Прекрасную Елену?
Красавицы со всех земных широт?

— Вас похоть не особенно берет.
Хотя, порой, в ней тонете по уши.
Пусть женщины для вас — особый сказ,
и тяга ваша к ним сильнее вас,
но чтоб за них закладывали души...

— Темнейший, здесь же есть и торжество,
которому не сделаться привычным.
Ведь только это беспредельно лично
и тем отделено ото всего.

— Слова сродни козырному тузу.
Отвечу, как и подобает бесу,
не прямо,
а сквозь некую завесу:

я притчу небольшую расскажу.

II

Давним давно влюбился смертный в фею.
А фея, кто их знает, почему,
судьбе сопротивляться не умея,
как смертная ответила ему.

И словно в забытии дней потекла череда.
Пустынный остров мир воздвиг вокруг
их постели.
И, заглядевшись, в сад упала к ним
звезда,
где птицы в темноте невидимые пели.

Не вечна ночь, не вечна и весна.
Амур задел вновь тетиву тугую,
и — смертный пробудился, как от сна,
и полюбил он женщину другую.

И чувства в нем опять зажглись, как
в первый раз.
И птицы, возмужав, так пели оголтело.
И месяц в вышине качнулся и погас,
как будто бы мешать им небо не хотело.

И все-таки судьба их развела.
Неважно, кто был этому виною.
Но осень для него приберегла

еще любовь, чтоб не порвать с весною.

И снова мир для них оставил островок.
И звезды, замерев, на них с небес
смотрели.

Он новую любовь особенно берег.
А птичий хор гремел — ему не жалко
трелей.

Когда он умирал, пришла к нему
из дальних дней с прощальным
словом фея,
пред тем, как отойти ему во тьму,
напомнив, что когда-то был он с нею:

— Не думаешь ли ты, что женщин знал?
Одна
к тебе являлась я, лишь облики меняя.
Я остаюсь, а ты жизнь исчерпал до дна...

Из певчих птиц и звезд над ним
кружилась стая.

III

— Как ты находишь притчу?

— Притча зла.

Я пачку сигарет взял со стола.
Незванный гость дым выпустил из

глотки.

— Тогда, быть может, по рюмашке
водки?

— Мерси, не пью сивушные масла...
Скажи мне лучше, как летал, орел?
Мечтать о Музе — жить со смертной
девой...

Ах, грезы обольстительные, где вы?
Ты даже здесь опоры не обрел.

— И дальше что?

— А дальше бросим прятки.
С твоим достатком будет все в порядке.
Что ни захочешь, все тебе я дам:
слуг-роботов, друзей, успех у дам,
командировки по планете, дачи...
Все это сверх, по-дружески, в придачу.
А главное:
как проповедник в храме,
ты овладеешь душами, толпой.
Заслушается умный и тупой,
и каждый без труда тебя поймет.

Речь ясная, насущная, живая...
Все сможешь сформулировать, сбивая
мысль, в воздухе носящуюся, в лёт,
и в жар бросая ближнего, и в лед.
Легко, свободно,

лишь откроешь рот,
как бог, который от вселенских вод
одним желаньем отделяет сушу.

— За это я закладываю душу?

— Оставь,
кому душа твоя нужна.
Подумаешь — великая княжна.
Гербарий составлять из них — не ново.
Не вечно же мне души запасать...
Все выразишь, что пожелаешь, словом,
но ты его не сможешь записать.

— Потом уйду я, все оставив тут,
а люди позабудут...

— Будут живы —
не позабудут.

— И они уйдут.
Потомки же все истолкуют лживо.

— Свой путь закончишь — снимется
запрет.

Легенды о тебе увидят свет.
Кто знаменитей —
Фауст или Гете?
Конечно, Фауст.
Здесь двух мнений нет.
Не в темноте ль себя всю жизнь вы

жжете?

— Исчезнуть, чтоб такой оставить след...

— Исчезнуть можно и совсем бесследно.

— Что говорить, удел довольно бедный...

За нашей жизнью некие плоды

взрастит потом иное поколение.

А нам же недоступен акт творенья.

— Творенья? — струйку дыма выдул он,

как будто затянулся сигаретой. —

Ты хочешь посмотреть, как будет это...

И на меня сошел мгновенный сон.

IV

Я меж заборов, ссохшихся, дощатых
иду.

Сквозные дырки от сучков, —

следы лучей, пробивших их когда-то.

А небо бремя низких облаков

несет,

повиснув — серым и сплошным.

И тяжело утру раннему под ним,

где сумерки во всем сродни вечерним,

и лишь пустынно.

Поступью неверной

иду, какой-то силою влеком.
Все тянутся два старые забора.
Вот окнами полуслепыми дом
бревенчатый глядит из коридора.
Его я видел,
но не здесь, не так.
И чья-то воля ускоряет шаг.
Я выхожу.
Песочница у дома
мне как-то странно, чуждо, но знакома.
Посередине круглое стекло,
изображая озеро, легло.
Фигурки грубо слеплены из глины.
Они темней остывшего песка.
Окаменела детская лепнина:
фигурки кукол, рыб, два-три зверька.
Какие-то неведомые гады...
Я ощущаю, что кому-то надо,
чтоб я над ними руки распростер.
Я наклонился.
Руки поднимаю
всей слабости своей наперекор.
Я их напруг, со страхом понимая,
что отступить мне некуда,
что вот
сейчас под ними это оживет.
И вижу — оживает, задышало,
зашевелились жабры и хвосты.
Но я-то знаю:
это лишь начало.
А руки страшной силой налиты.

На озере заколебалась гладь.
Засеребрились изнутри огни там.
Его я начинаю поднимать.
Оно взлетает, словно за магнитом,
и меж ладоней замерев, висит,
колеблется и принимает вид
большого шара,
отливает белым,
пульсирует.
Напрягшись до предела,
раздвинул руки —
следом шар растет,
став сферой полутверди, полувод.
И лопается...

V

Я снова дома.
Руки распростерты.
Меж ними, свесясь на бок, — рожа черта.
Он даже с ложа моего привстал
и смотрит вопросительно, с ухмылкой.
Я ощущаю тяжесть, боль в затылке
от напряженья...
Он мне:

— Не устал?
Сядь прямо и не тычь в тарелку вилкой.
Ешь с аппетитом то, что подают.
Творение...

Изведал, что за труд?
Всю жизнь свою ты к этой шел минуте?
Да и тебе она ли по плечу?
А я тебя, если не самой сути,
то все-таки манерам научу.
Ведь любите вы мысли поновей
и судите общественные беды.
Для вас же откровенные беседы
и есть та жизнь, что мните вы своей.
Вы сами затвердили: стиль, стилисты...
Подписывай, судьба в твоей руке.
Ты будешь говорить на самом чистом
провидческом,
духовном языке.
Как принял рай вновь созданный Адам,
бери же — мне не жаль моей науки.

— Нет, я своей косноязычной муки
не только бесу — Богу не отдам.
Товар не подходящего сорта.
Иди, темнейший, я устал и впрямь.
Но хочешь — загляни.
Беседа с чертом
весьма занята все-таки.

— Упряма...
Ах ты мой неподатливый,
постой...
Тебе твое упрямяство выйдет боком.
Не думай, если вас накрыл Застой,
то и потряхнуть тебя нельзя, как током. —

Гость желтизной налился, словно медный.
И выпалил:

— Когда явился бес,
не думай, что визит пройдет бесследно.
И став, как пламя, красным, он исчез.

VI

Вновь щелк замка, вздох растворенной
двери.

Пути тебе не будет, сатана.
Что позабыл, рогатая тетеря?
Шаги — и входит в комнату Она.
Ни «Как ты без меня?», ни просто
«Здравствуй!»

— Кто это там пронесся в чем-то
красном?

— Не знаю...
Только кажется вздремнуть
мне довелось...

— А я пришла некстати?
Приснилось что?

— Да, так... Один приятель.

— Придумал бы получше что-нибудь.

ДЕНЬ ПЯТЫЙ

I

Что может утро,
если не исчез
к дурному чувству темный интерес
и к синеве повернута спина
такого одинокого окна,
скрепленная скелетом переплета?

— Пусть оступился, раз пришла охота...
Не в этом дело, —
говорит Она. —
Но ты все время грезишь о высоком.
А я...
Я ощущаю пустоту.
Вся жизнь —
как будто бы стоишь под током.
Вся жизнь —
как будто только на посту...
День изо дня...
Что за тщеславный бред
жить тем, чего, быть может, вовсе нет.
Где эти рамки для самообмана,
когда блужданье переходит в ложь?
Чего ты хочешь?
Что ты вечно ждешь?
Когда я окончательно устану?

И без того дни наши нележки.
Зачем терять себя за целью дальней?
Ну, почему немного по-людски
нам не пожить, как все живут,
нормально?

— Едина суть — подобий же не счесть.
Понятное для взора — род преграды...
Одни привыкли видеть все, как надо.
Другие видят все вокруг,
как есть.

— Твоя душа всегда напряжена.
Но я с тобой, я женщина,
жена.
А женщина живет судьбою мужа.
Вот мой протест и вырвался наружу.
Ведь все твое во мне отражено.
Пусть только в чувстве, —
но не меньше муча.
И небо мне твои закрыли тучи,
и так же давит на меня оно...

II

— Любимая, все злишься на кого-то...
Смотри:
картина общая для всех.
Гуляют по бульварам анекдоты
и анекдотки,

вырядившись в смех.
Веселье, как спасительный недуг.
Торчат на всех углах остроты века.
Лишь палец в виде имени генсека
покажешь —
все смеются.

— Как бы вдруг
не вышло плакать...
Улица смеется.
Того, гляди, от смеха оборвется...
В страну повально сдвинувшихся
крыш.

— Остановись!
Не то наговоришь,
пророчица...

III

Обычна и проста судьба чудес.
Да и знакомы ли они с судьбою?
Окрасил небо пламень —
и исчез.
А небо, как и прежде,
голубое.
Войдет в пределы труд любви земной,
и ею жизнь надежно обогрета.
Но, тенью став,
слоняется за мной
мне данный в первый час избыток света.

Со мной любовь добра и хороша.
Но выпадает крайняя минута,
и кулаком бессильная душа,
невидима ему, грозит кому-то.
Все, как у всех,
и лучше, чем у всех.
Себя я и не сравниваю с ними...
И чье я только повторяю имя?
Мне грех роптать,
но и смириться грех.
Забывать себя бы
и вздохнуть легко...
Опять луна богиней ночи встала.
До неземной любви мне далеко.
Земной же
для моей гордыни мало.

НОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ

I

Какие ежедневные заботы,
не называясь, разбудили вдруг?
Вот кажется,
из ночи смотрит кто-то,
и, словно ток, пронзил меня испуг.

Я свет зажег.
Однако он лишь тлел,
как будто аварийный,
в треть накала.

И все-таки распалась гряда тел
ближайшей тьмы.
И вижу я нахала
какого-то.
Запущен, неопрятен.
Пол задевает бахромою брюк,
забывших, что на свете есть уют.
Как в яблоках, костюм в разводах пятен.

— Ты вор? — спросил я.

Поднимает взгляд.
И взгляд его безумен.
Я назад
отпрянул.
Жестки, холодно ясны
глаза его.
На лбу припухли складки.

— Хорошие ли, мальчик, видел сны?
Я наблюдал — ты спал довольно сладко.

— Чего же ты нарушил этот сон?

И мне в лицо расхохотался он.
Потом умолк, как захлебнулся смехом.
Присел, меня погладив по плечу.

— Безумье разделить с тобой хочу.
Мне тяжело общаться только с эхом
в земной пустыне...

Страхом не прижгло?

—Ты кто?

—Я статистическое зло.

И то случайно, может быть...

Однажды

ошибкой не на тот уселся стул,

пошел пить пиво и не так свернул.

И ход судьбы сместила эта жажда...

Свернул...

И по случайности, не боле,

мне было место зла отведено.

Но как ужасно исполненье роли.

Мой разум помутило мне оно...

И что такое — я сошел с ума?

Я вырвался — вина ведь, как тюрьма.

И принцип ваш ко мне не применяем.

Я вырвался — не для меня она.

Уразумел?

Теперь я невменяем.

— Все так, но слишком речь твоя ясна.

— А это категория иная...

Ведь ныне чувство на манер вины,

что вас гнетет,

мне прибавляет силы

склонять вас и толкать, как смерть

в могилу,

к безумию...

И как бы кто ни плавал,
я камень тот, что тянет вас ко дну,
я тут как тут...

— Ты современный дьявол.

— Ага...
И знаю роль еще одну.
Пророк я...
Ведь пророкам нет числа,
и в безотчетном страхе бьется слово:
нет версии,
пусть донельзя бредовой,
которая бы сбыться не могла.

— Что, например?

— Конец, к примеру, света,
мерещившийся в разные века.

— Мерещился, но, несмотря на это,
не наступил.

— Я бы сказал, пока...
Да ты его проспал, забившись в угол.
Уже свершилось —
ты проспал конец,
витая в сновиденьях, как юнец.
Твоя земля копила нефть и уголь,
чтоб мир его объелся и исчез.
И нет его.

— Ты современный бес.

— Но не из тех, рожденных детством
пугал.

Кудахтал ты, как курица зерно
утратившая,
рассужденья множа
про общечеловеческое.
Что же,
глобального хотели —
вот оно.

II

— Сыграем-ка...
В любви тебе везло?
Нас только двое.
Можем даже роли
распределить.
Я, натурально, зло.
Ты по желанью или поневоле
возьмешь себе все функции добра.
Конечно, ты соперник жидковатый,
но разделенья требует игра.
Что есть у нас с тобой, тем и богаты.

Глаз, привыкая, различал тона.
И как на тучах проступают пятна, —

земля на разный лад обожжена
была —
непостижима, необъятна.
Но, словно в тучах мимолетный взгляд
вдруг различает некие фигуры,
пригрезилось мне:
целый мир распят
и приколочен, как медвежья шкура
к земле...
На черном фоне черный ад:
повален на бок скрюченный старик;
дитя, враждебный мир не принимая,
застыло, ничего не понимая,
и в вечном плаче исказился лик;
мужчина, черным факелом света,
глядел во тьму, прислушиваясь к гулу;
и женщина, мадонна,
про дитя
забыв,
к глухому небу не тянула
бессильных, никому не нужных рук.
А далее, по всей земле вокруг,
в нелепых позах странные фигуры,
бегущие, бредущие понуро,
летающие, как будто некий взрыв
их разметал...
И полотно картины
не шелохнется, навсегда застыв.

Мой спутник, руки над землей раскинув,
взывал ко мне:

— Чего повесил нос?
Начнем дуэт.
Приди в себя, бедняга.
Я буду зло, а ты —
мой верный пес,
желающий хозяину лишь блага.
Ты — крик младенца.
Из земной утробы
явился он,
но так и не попрос.
Я — только тень обезумевшей злобы.
И поздно нас воспринимать всерьез.
Включись.
Я начинаю наш дуэт.
Ни прошлого, ни будущего нет
и не было, раз канули бесследно.
Стон тех, кто побежден, и гимн
победный —
едино все,
все менее, чем тленно.
И твой вчерашний день, и древний Рим,
переплетясь, рассеялись, как дым,
став мигом,
не замеченным Вселенной...
Спрошу тебя про самое простое:
чего теперь твои исканья стоят?

Не слушал я.
Взгляд застилала тьма.
Внизу земля навязчиво чернела.

Боль, мозг пронзив, переходила в тело.
Последний человек сходил с ума.
Меня на ста огнях как будто жгли.
И вот, уже совсем теряя силы,
расслышал я,
как донеслось с земли:

— Я здесь, я рядом!
Что с тобою, милый?

III

Открыл глаза,
а надо мной Она
склоняется с тревогой и мольбою
самой Любовью:

— Милый, что с тобою?..

Ночь с фонарем застыла у окна.

ДЕНЬ ШЕСТОЙ

I

В кафе, внизу,
под боком бильярдной,
один сижу и пью свое вино.
Наш Дом коллег отправился в кино.
Удобное окно для миллиардной

толпы в сраженья, в праздники и быт,
в обычаи, традиции, устои,
в пространство, время,
в самое святое
святых души...
Великий эрудит.

А я один.
И все из-за кино,
вершителя судеб и чародея,
что о духовной сытости радея,
про жажды, грезы, чувства и идеи
творит, как на костяшках домино.
Играя, он на все дает ответ...

— Ты прав, коллега,
суета сует.

II

Кто б это был?
Смотрю по сторонам.
Нет никого.

— Что крутишь головою? —
Как будто спел кто. —
Нас ведь только двое.
И я-то знаю, одиноко нам.

Опять...

Никто не подходил к столу.
А голос странноват, но настоящий.
Неужто это музыкальный ящик,
забытый всеми у стены в углу?

— Ты это?..
Или тот, кто вдруг исчез?

— А кто еще?
На свете нет чудес.
Пускай иначе я на этот свет
произошел —
я, как и ты, поэт.

— Ах, так...
Я даже слышал от кого-то,
что физики создали рифмоплета.

— Я тоже — дело случая, не боле,
как ты, как Пушкин сам, в конце
концов.

Пойми, от самых рядовых отцов
рождаются художники,
и долю,
и дар им дух природы отдает,
томящийся до времени в неволе
и сотни лет, и век, и просто год...

— И кто же ты?

— Я порожденье боли.

— Неужто люди в области машин,
запреты мироздания разруша,
кощунствуя,
смогли достичь вершин
таких,
что в них вселяться стали души?

— Нет, я возник...
общественным путем...
Вне штатов, без зарплаты, вне работы...
Да и не помню я почти и том.
Придумал с кем-то кто-то...
Делал кто-то...
С тех пор, наверно, каждый божий день,
кто б ни случился.
все, кому не лень,
на мне свои опробовали темы.
И имя даже дали — Хризантема.
Красивое...
Кто только столько лет
со мной на что-то ни искал ответ.
И дельное, и аспирантский бред,
и все, что и во благо, и во вред
идет и человеку, и науке.
Открытия, где все, как на духу.
Ну, а порой, такую чепуху...
Во мне возникло ощущение муки.
И кто б ни брался, исходя из темы,
на разный лад менял мою систему.
Всем надо мной легко давалась власть,

и все возились, чертыхаясь всласть,
ругаясь на свою худую долю.
От всяческих и бесконечных дел
внутри меня скопилось столько боли,
что я в один прекрасный день прозрел
и стал поэтом...

— И попал сюда?

— Мне это не составило труда.
Меня к вам в Дом доставили, когда
в который раз решили побрататься
и физики, и лирики.

А я?
Я как фигура из житья-бытья
научного
служил для иллюстраций
возможностей наук,
чтоб этой силе
дивился ты, застыв с открытым ртом.

— Но что произошло с тобой потом?

— Оставили сперва, потом забыли...

— Опять же этот шутовской наряд
кабацкой, прямо скажем, радиолы...

— Вне плана я, тебе же говорят.
Без ящика я был как будто голый.

— И что ты пишешь?

— Пробую слегка...
Что для стихов судьба такого рода.
Да у меня и нет судьбы пока.

— Не взяться ли тебе за переводы?
А впрочем, ты не куришь и не пьешь.
Зачем тебе?
Так обойдешься...

— Что ж, быть может...
А тебе мне хочется помочь.

— С моей задачей трудно ждать подмоги.
Я нынче, брат, забрел в такую ночь,
что чудом лишь унес оттуда ноги.
Весь день слоняюсь, будто бы больной...

— И все же посоветуйся со мной,
глядишь, пойдет здоровье на поправку.

— Надежды мало, слишком недуг злой...
Когда бы кто-нибудь мне выдал справку,
что не случится ничего с Землей...
Но все слова — не более, чем звуки.

— Тебе, пожалуй, нужен храм Науки.

— Не родина твоя ли этот храм?

— Да, родина. Тебе помогут там.

— Составят справку и поставят штамп?

— Творятся там и не такие штуки.

— Но как туда пойти?

— Я поведу.

Но не ходок я на свою беду
и мысль одну держу я на примете:
есть робот наверху.

Его вам дети
прислали.

Правда, он вам ни к чему.

Не очень-то и вы нужны ему.

Как чучело, стоит он недвижим.

Внутри он пуст,
и прост его режим,
но он ходячий.

Вставь меня в него.

И большего не надо ничего.

III

На поле Знаний — зданий купола,
расставленные, как колокола
из камня.

Что ни колокол, то — храм.

Название на одном — «Метаморфозы».

— Почтенный мэтр, переключи программу.
Систему на гостей переведи.
Ответь — не больше и не меньше грамма
удельный вес?

— Вода.

— Теперь ходи
со своего вопроса.

/Это мне/.

И я:

— Вы справку выдать не могли бы
на счет Земли...
Что с нею все вполне...
Заранее вам говорю спасибо...
Вы справку мне составить не могли?
Я к вам пришел касательно Земли...
Что не взорвется,
что ни перегрев,
ни прочие промышленные блага...
Планета наша,
мать прекрасных дев.
Земля...
Короче, мне нужна бумага
с печатью...

Я смотрю: проснулся он
и резко,
словно в ствол загал патрон,
спросил:

— Похож ли я на бюрократа?

— Ну, что вы, что вы...

Видя, что чревато
начало ссорой, гид сказал:

— Сюда
впервые он попал,
а в этом храме...
Открытия...
Да и сама среда...

Мэтр улыбулся,
стал любезней с нами
и так сказал, слегка потупя взор:

— Открытие — решение задачи
компактнее, чем полный перебор
всех вариантов...

— Редкая удача вас видеть. — Это я. —
В таком кругу
вращаетесь вы...
Мне и не по чину.

Вздыхнул он скромно:

— Дайте мне машину,
где элементов больше, чем в мозгу —
я этот мир перевернуть смогу.

— Перевернуть?..
Вы лучше справку дайте,
что весь ваш мир не обречен на слом.
Число и вашу подпись...
Впрочем, дату
хоть задним ставить можете числом.
Лишь бы печать...

— Машину с интеллектом
соорудят —
даст вам ответ она.

— На все ответить может этот некто?

— На все.
Предела нет для интеллекта.
Машина, кроме прочего, точна.
И нет того, чего бы — не сумела.

— Послушайте, вы это все всерьез?

— Я с ней извечный разрешу вопрос,
если хотите:
связь души и тела.

И тем его закрою.

Но теперь
не выдержал мой робот:

— Вы это бы не трогали.
Кто знает, есть ли дверь
в предел души,
что затерялась где-то
и отворима с помощью числа...
Пусть хоть с разгадкой в миллиарды
чисел.

— Кто некий числовой предел превысил —
открыл закон...

— Вот цифра занесла...
Попробуй возбудить в машине боль,
хотя бы боль! —
зашелся Хризантема.

Вмешался я:

— Не пережги систему,
не кипятись и мне сказать позволь...
Послушайте!..

— Машины лишь верны.

— Тогда с другой подступим стороны.
В газете пишут, что нашли дитя.

Он жил с волками в джунглях
больше года.

Во тьму опять взяла его природа
за малый срок,
как будто бы шутя.

И даже ложки не возьмет он в руки
в отличие от просто обезьян.
Печальная загадка для науки...

— А вот машине чужд такой изъян.

— О боже, непонятливый какой.
Зачат в таких глубинах мозг людской.
Ему их и не вспомнить одному.
И нужно человечество ему,
чтоб поддержать в его светильне
пламя.

И чтоб огонь рассудка не погас,
все то, что на земле стоит за нами,
все то, что было на земле до нас,
все нужно мозгу.

— Видите, как много.
Машине же...

— Оставьте вы, ей богу...
Когда за каждым это все стоит,
то человеку нужно в идеале,
чтоб в будущем могущество давали
ему земные знанья.
Индивид

тем бы владел,
чем коллективы ныне...
Чтоб мощь земли раскрылась в каждом
сыне.

Но это лишь при здравии Земли
возможно...
Вы бы справку не могли
мне выдать?

Он ответил:

— Был бы рад...

/И вправду, не далек от бюрократа/.

Вдруг он сказал:

— Хотите реферат?

— Спасибо, обойдусь без реферата...

IV

И в храме облегченья не найти.
А есть ли на земле сегодня храмы?
Куда пойдешь?
Мы вышли — на пути
висит фонарь, как указатель «Прямо».
И в сумерки уходят провода.
Что взять с него —
фонарь ведь не звезда.
Вот, кажется, и я по горло сыт.
Мыслишки, как навязчивые суки...

— Жизнь знанью отдают, а не науке —

/Дождлся — это ж робот говорит/.

— И тот бедняга вовсе не мужчина.
Он то ли глуп, то ли сошел с ума.
Параметры приличны для машин.
А для живого — это, как чума.

/С приездом — ай, да, робот, ай да речь/.
Я б рассмеялся — только не до смеха.
Мне, словно в тину, в глупость бы
залечь.

И не кудахтать, будто чье-то эхо.
Быть может, я свихнулся, а не он.
Быть может, он куда меня умнее.
Все перепутать: время, явь и сон.

А Муза...
Что я бегаю за нею.
История...
Что в прошлом я забыл?
Искать во всем чего-то лучше разве...

Метаморфоза словно отрубил:

— Теперь нормален только тот,
кто развит.

ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

I

Все кажется...
Я кончился,
я пуст —
утративший листву, раздетый куст,
нелепый, как бездомное окно.
Отказываюсь.
Мне не суждено.
Тропу моих скитаний так скрутило,
что, в сущности, мне даже все равно.
Я уступаю...

— Что с тобою, милый?

— Я кончился.
Как ты была права.

Смешно.
Кому доверился я слепо?
Себе.
Как все теперь звучит нелепо.
Какую западню таят слова.
Есть только ты.
И только это свято.
Дай руку мне и посиди со мной.
Любимая, я хуже, чем больной.
Терять себя — убогая утрата.

— Будь справедлив.
Ты, милый мой, устал.
Недаром же любовь всех нас древнее.
Стоял ты, как пред богом, перед нею.
Подумай, вдруг теперь твой час настал.
Ведь я тобой горжусь.
Ты прав во всем,
отыскивая смысл свой в самом сущем.
Мы прошлое в грядущее несем.
Нет прошлого, раз быть ему в грядущем.
Живущие, мы производим смысл
всему земному.
Смысл существования...
Его не посадить на цепь лишь числ
и не объять раз навсегда словами.
Мы без него ничто.
Он мертв без нас.
От века к веку становясь весомей,
он нами жив.
Нам в нашем древнем доме

поддерживать огонь на этот раз.

— Откуда у тебя нашлись слова?
Похоже, поменялись мы ролями.
Но тяжела до боли голова,
где тени мыслей носятся роями.
И снова к горлу подступил комок.
Искать всю жизнь, надеясь лишь на
случай.

Кому на этом свете я помог?
Кого хоть на немного сделал лучше?

— Меня.
Я это поняла сейчас.
Когда ты так ослаб,
лишь хуже стало
тебе,
все, что есть суетного в нас,
неглавное,
все, как завеса, спало.
Меня.
С тобой я сделалась иной.
Совсем иной,
и прежнюю не буду.

— Но ты нередко ссорилась со мной,
казня меня за вечные причуды.

— Нашел, что слушать...
Женщина, подчас,
наговорит еще и не такое.

Естественно, что хочется покоя.
И понимать, конечно, нужно нас.

— Кто этому искусству вас учил —
сочувствовать?
Что дремлет в нас подспудно?
Ты ощущаешь пульс великих сил
в тяжелый час,
когда другому трудно?

— Жизнь требует немалого труда.
Нужна опора.
Что поделать, милый.
Пусть - состраданье.
Это не беда.
И в состраданье можно черпать силы.

II

В своих глубинах помощи мы просим
лишь в крайнюю минуту.
Почему?
Сколь многое всегда с собою носим.
Как мало обращаемся к нему...

И ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ

I

Совершилось...
Скорей, сорвалось.

Так, как в гневе срывается слово.
Обозначилась зябкая ось
этой жизни,
на глаз, без основы
в плоть забитая.
В сущности, в грязь,
но в живую.
Фундамента духа
не построено.
Жизнь, как старуха,
с прошлым явно утратила связь.

Что? Дожили до лучших времен?
И все это — российская тройка?
Гривы или лохмотья знамен
с чернью ломаных букв: «Перестройка!»?

Старый мусор видней по весне.
И сердиться мы как бы не вправе.
Ты по жизни блуждал, как во сне,
и в фантазии жил, словно в яви.
Философствовал, в прошлом витал.
Видел Данте и слушал Сократа.
Все, что вычитал, сам испытал
и любви запросил, словно платы.
Ты такого не ждал, но хотел.
Что-то сдвинулось, кинулось к свету.
Темный дух долгих лет отлетел.
Вялой ветошью виснут запреты.

Правда, ринулось.
Только на лад
сумасшедший.
И кажется, — бредим.
Да, рванулось,
но как-то назад,
вспять.
Сейчас и себя переждем.
Каждый, впрямь, словно в некоем бреду.
Ищет, как разбежаться похлеще.
Кто развесил вокруг, на виду
души, словно лежалые вещи?
Залежалое, да, но свое.
Каждый в очередь встал на закланье.
Перестроечный ветер желаний
гулко старое треплет белье.
Кто б ответил, что строим, что рушим.
Ясно: зло научились срывать
и к повсюду развешенным душам
рвемся с палками пыль выбивать.
Стоп? А как же бы это должно
совершаться?
Что? Слишком уж грубо?
Возрожденья хотел?
Вот оно —
затрубило в бездарные трубы.
Рисовал ты иные пути.
Философия — суть пересуды.
Жизнь по-своему, как ни крути,
распалясь, бьет на счастье посуду.
Пробродив в сферах духа сполна,

ты, случилось, черпнешь из колодца,
что духовен.
Теперь вот она
вся, как баба, в истерике бьется.

II

Преследует меня Экономист.
Где не присяду, — там он.
Так и ходим.
Нагляден, респектабелен и моден.
А я небрит...

— Художественный свист, —
он говорит, — все ваши построенья,
философов и прочих болтунов.
И муза тоже — область настроенья.
Из этого никто не шил штанов.
Учитесь, занимайтесь воспитаньем,
о личности беседуйте хоть вслух.
... О чем вы вновь?..
Ах, вы опять про дух.
А как сейчас у вас дела с питаньем?
Вот и не лезьте.
Бог — специалист.
Все прочее — художественный свист.

— Я этого не чувствую.

— Чего?

— Главенства жестких схем.
Я не считаю,
что это так.
Нет в этом моего.

— И я порою в облаках витаю, —
вскипел он, — и духовности не чужд.
Но посмотри в глаза насущных нужд.
Легко ли пелось?..
А когда — развал...
Ответь-ка, кто теперь поет романсы?
Ты верно вспомнил присказку: финансы.
Поющего ты верно бы назвал.
Ведь кто в героях?
Финансист и я..
Ах, да, чуть не забыл...
Еще Политик.
Он даже как бы первый...
В части критик.
Такая вот наглядность бытия.
Суровая, как ни смотри, картина.

— Политик — тоже, — говорю, — дерьмо.
Вся троица — не триптих, а трюмо.
Куда ни посмотрел бы — все едино.

— А ты-то кто?

— Я — человек идеи.

— Какой?

— Моей.

И я всю жизнь ее
записываю.

— Боже, с кем я, где я?

Ты попросту впадаешь в забытье.
Какой идеи?

— В сущности, добра,
основанного на прозренье чувства.
Оно все то же нынче и вчера,
и прежде.
Человек — его искусство.

— Добро, искусство...

Снова о своем.

Что ж, умствуйте, пока мы вам даем.
Хотелось только, чтоб не забывали
о том, что это я прогресс несу.
Не будь меня, вы б палкою сбивали
плоды, как прежде, в девственном лесу.
Первичен я.
А там пусть всякий пьет
за здравие другого — мне не жалко.

— И все-таки, чтоб палкою сбить плод,
необходима прежде мысль о палке.

— Решительно, философ, ты на взводе.

О палке ли?
А может быть, о плоде?

— Плод, — что дано.
Как дерево, как лес
и это лучезарное светило,
что светит нам с загадочных небес.
На некий плод и меньшего б хватило.
Непросто выбирать одно из двух,
и разуму естественны пределы.
Но все же должен проявиться дух,
потом лишь путеводным станет дело.
Тысячелетий этак до трехсот
наш пламень бьется на немом просторе.
Конечно, экономика пасет
по-своему и души.
Я не спорю.
Но снова в грех впадая перемен,
постиг я,
пусть, по-твоему, на взводе,
что с ней,
конечной по своей природе,
я попадаю только как бы в плен.
Не более...

— Вот и живи в плену, —

озлился он.
Его как будто сдуло...
А улица свое кривое дуло
направила в какую-то одну

невидимую цель вдали.
И тут
расслышалось:
в ее утробе глухо
позвякивали наковальни духа,
что своего теперь не отдадут.
Так я подумал...
Хорошо ли, плохо,
но в этом — вся мне свойственная суть.

Кривилась трасса, выбирая путь...
А дальше —
обрывалась, как эпоха.

III

То тот, то этот...
Вдруг — Национал.
Такая нынче людная дорога.
И он кого-то мне напоминал...
Чужого? Да.
Но и меня немного.
Он говорит:

— Одни учить горазды,
другие слушать...
Растрavляем жажду.
А ты — учитель или ученик?

— Я тот, который вновь ведет дневник.

Он оживился:

— Это очень кстати.
Валяй за мною — будешь на подхвате
записывать все, что тебе скажу.
Священнейшему делу я служу.
Со мной составишь книгу возрожденья.
Исконное — нетленно на Руси.
Хорош материал — мои сужденья.
Чего не разберешь — переспроси.
Не примитивно, словно теплый сбитень,
а древним устроением души
я, как народ мой, прост и самобытен.
Про это для начала запиши.
И нам не надо никаких новаций.

— А если я дитя любви двух наций?

— Не усложняй.
Раз с нами, значит наш.
Кровь порчена — не велика досада.
Важнее соответствовать укладу.
А вот на это — в храм анализ сдашь.
Пиши:
не из-за нашей простоты
на западах нас люто ненавидят,
за то, однако, что у них не выйдет,
попробуй быть они, как я и ты.
Завидуют: страна у нас — громадна.

Просторно нравам тут и городам.
Я говорю: чужого мне не надо,
и своего я тоже не отдам.
И видимость, и внутренность земная
вокруг — мои.
Другого я не знаю.

— Твои? Как глубоко?

— А до нутра.

— И впрямь ты рассуждаешь бесшабашно.
Бездонная получится дыра.
А заглянуть в нее тебе не страшно?

— К чему ты?

— Все к тому: планета — шар.
Ее разрезав, ты преступишь меру,
разрушив цельность несказанной сферы.
Гармония творенья — хрупкий дар.

— На сфере разве что-нибудь растет?
Планета — шар,
а что — моя натура?
Теория... Она, как пуля, — дура.
Меня-то тоже надо взять в расчет.

— Ну, хорошо.
Я видел Древний Рим,
Сократа слушал...

Наблюдал державы,
Сходящие в закатах прежней славы
и земли оставлявшие другим.
Подумай: кто такой земле угоден,
не разберешь, где истина, где ложь.
Ведь шел периодический дележ
на этом древнем кладбище прародин.
Достаточно и ныне зреет драк.
Кому отдать поляну, лес и реку?
Кому?
Быть может, просто человеку,
раз все в веках переплеталось так.

— А мне он свой?
Отдать! Как это вдруг?!
Так все на свете выпустишь из рук.
Утопия.
Да за такие речи...
Я чувствую, что говорю с врагом.

— Жизнь катится клубком противоречий.
При чем здесь враг,
я о совсем другом.
Я о призванье истинной природы...
Прислушайся — услышишь вечный глас:
бесспорна лишь преемственность культуры
от вздоха ее первого до нас.

— О том же самом я!
Культура — мать.
Но только надо, обрати вниманье,

по-нашему себя и понимать.
Улавливаешь:
наше пониманье.
Кто не поймет, тому не объяснишь.

— А не забьемся ли, как в нору мышь?
Культура человечества... Она
в грядущее всегда обращена,
и наша, — как река, в нее открыта.

— Тьфу, мразь, интеллигенты, эрудиты,
образованцы —
грех вам поучать.
На лбу твоём поганая печать.

Он отскочил...

Чья собственность древней?
Мое и наше:
что под небом хуже?
Чьи звезды отразились в этой луже?
Естественно, своя родня родней.
А мысль?
Мысль нереальна, как легенда?

... Все видится иначе, чем вчера:
Молдова недостаточно добра
и Грузия не столь интеллигентна...
А мы:
характер переходит в нрав,
терпенье с нетерпимостью связав, —

то брату брат, то дьявольски сердиты
И дух до срока свален в подпол быта...
В таком ряду и мелочи кровавы.
По кромке кровь запенится...
И вот,
ее бортами черпая, плывет
разлаженный корабль моей державы.

IV

— Любимая, ты помнишь скрипача?
Казалось, вот оно — пора настала.
А музыка лилась с его плеча,
окрестности наполнив, как бокалы,
и души...
Помнишь этот перезвон?
Добры мужчины и прекрасны девы.
И небеса кистями звездных крон
над городом раскрылись,
словно древо
Познания.
Вот-вот взойдет звезда,
объединяя всех,
всех вместе взятых.
Когда же это было все? Когда?

— Когда?
Конечно же, в шестидесятых.

— Любимая, ты помнишь то кольцо,

в метро осуществленное однажды.
Свет глаз,
преображенное лицо...
И — всех объединяющая жажда
общения,
от глаз и на глазах
рождавшаяся.
Пронеслись по кругу,
и — город изменился,
что и «Ах!»
не вымолвил.
Любовь — моя подруга
кольцом его в объятия забрала.
Звенели души, как колокола.
По кругу из вулканов изобилья, —
из раковин метро —
поток тепла,
дурманя, рвался.
И, не помня зла,
все, кто там был, друг друга возлюбили.
Свершился круг, и город стал иным.
Иные жесты, женщины и мысли.
В одно войдя,
мы из другого вышли.
Наш город...
Вот бы повстречаться с ним...

— Да, город со светящимся лицом.
Медовый круг влюбляющихся, или...
Мы с городом, пусть на ночь, обручили
живущих в нем

тем памятным кольцом.

— Любимая моя, давай опять
повторим это давнее круженье,
чтоб в людях проступило отраженье
любви,
ее поэзия и статья.

V

И метро, и кольцо...
В глубине, под землю, — все то же.
Скрипу, вроде, побольше,
грубей при движенье рывки...
Нет, не то все вокруг,
и на прежнее только похоже.
Отражения в окна
врезаются, как каблуки.
Я беру Ее за руку,
и откликаются взоры
покривившимся зеркалом:
руку ее отпусти —
тоже выбрали место — любить,
перебиться бы впору...
Словно в нашем парламенте
взялись мы речи плести.
Все не так, все иначе...
Но что-то особенно ново.
Экстремизм.
Не по книгам, а в жизни

я встретился с ним.
Экстремизм.
Он ведь лечится тем,
что калечит другого.
Избавляясь от боли,
он боль причиняет другим.

Я, как прежде, смотрю на Нее.
Только этого мало.
Лица, вроде, светлеют,
но свет поглощает стена.
Перед всеми и каждым в отдельности —
всюду она.
И не будет, не будет,
не будет теперь карнавала.

Свет как будто заметен,
но только никак не светает.
Вместо этого хлынула в голову
мерзкая гнусь.
Не хватает любви,
и во мне,
и вовне не хватает
до того, что сейчас я не выдержу
и задохнусь.
Пропустите, наездился.
Слышите, я выхожу.
Ах, зачем перед дверью
толкается столько народа?
Дурно.
Нету опоры...

но что это?
Это — свобода.
Я взлетаю,
а тело,
повиснув, осталось внизу.

VI

Нет ощущенья ритма,
словно счет
утратил смысл.
Ты здесь и как бы всюду,
где время не стоит и не течет.
Скажу иначе:
ощущенья чуда
спасительного нет.
И как-то вбок
несет тебя.
Оставленное где-то
пространство, словно скомканный платок,
валяется...
Ты — в окруженье света,
как воздуха,
где лучезарный дом
приемлет заблудившегося сына,
и лепятся из света, как из глины,
движенья, лики...
Ими ты ведом.
Но для себя ты — словно некий сор:
вдруг кажется, что все в тебе убого.

Смотрю:
мне Светоч заступил дорогу,
не внять — куда.
Какой-то коридор.
Кто это? Данте?
Или первый гений,
пригрезившийся, из моих видений?
Он явно весел,
и, похоже, этим споткнувшегося как бы
он готов
подбодрить шуткой.
Я не слышу слов,
но внятно все:

— Тебя еще мы встретим.
Твое земное не сбылось сполна.
Стой! Дальше луч связующий прервется,
тогда Она тебя не дозовется.

— Не дозовется? Кто это?

— Она.

А я:

— В твоих лучах кажусь я тенью.

— Ты прежде срока оказался тут.

— Скажи, в чем суть возмездия?

— В прощенье.
Прощение и есть последний суд.

— И кто я здесь?

— Тот, кем ты сможешь стать.
Здесь для преображенья все открыто...
Тебе знакомо существо орбиты?
Избыток сил дает с нее взлетать
в иные сферы.

— Что взлетать дает?

— Мгновенная преображенность духа.

— Понятие доступное для слуха,
но тяжкое на деле.
Этот счет
поэлитарней всех аристократий
и труден для земных и смертных братьий.

— Здесь все не так,
но ты не сбросил груза,
который нес.
Ты все еще тяжел.
А с тяжестью граничит произвол.
здесь нет его.
Здесь рвутся эти узы.

— А скорбь о нас возможна здесь, как
труд?

— По-своему она возможна тут.
Последнее из бытности земной —
скорбь ваша...

— Что же делать мне со мной?
— Вернуться в первородность чистоты,
познав себя...

— И кто же столь чисты?

— Их более, чем полагаешь ты.
Очистится душа на этой грани
от смертных нужд и от земных желаний.

— Уйти в иные сферы...
Что же с теми,
кому не удастся этот взлет?

— Им ведомо почти земное время
и связанный с его движеньем гнет.

— А существует ли в высоких сферах
понятие ошибки?

И в ответ
участливо молчал на это Свет.
Потом промолвил:

— На земных примерах не объяснить,
хотя бы потому,

что свет для нас не разгоняет тьму,
здесь нет ее...
Ты кое-что постиг,
блуждая с Музой,
ты в единый миг
менял эпохи.
Ты не слеп, не глух,
но можешь ли сказать, пройдя и это:
все призрачно — реален только дух?

— Не очень...

— А теперь подумай: где-то,
когда-то побывал совсем другим
сюда пришедший некто.
В нем и с ним —
все перевоплощенья, что на долю
его пришлось,
и радости, и боли.
Все это в нем одном, и потому
в единый миг представится ему,
как он, меняя и тела, и лица,
жил на земле,
то раб, то вор, то царь,
то женщина,
то зверь лесной, то птица.
Изменится само понятие: встарь.
Быть мудрецом, слугой и господином,
и все это они,
точнее он.
Представь теперь себя, и все — не сон:

эпохи, растворясь в тебе едином,
сойдут на нет.

И не одно из двух,
не множество...

В начале было слово:
реальности причина и основа
меняющий свои обличья дух.
Задумайся и про себя реши:
твой дух и сотворяет все эпохи...

— Последние скакали, словно блохи.

— Твой дух — частица Мировой души.

— Я помню лишь себя...

В земной тени
преображенье смертных душ чревато
отшельничеством.

И не так уж свято
священное.

Открылось в эти дни,
где примитивна, словно зверь, свобода
под стягами движений и идей,
где собственность свою блюдут народы
в ущерб предназначению людей,
что каждый одинок, когда не в стае.

Вот истина, как будний день, простая...

И рядом кто?

Добро бы хоть жена.

— Вот именно...

Тебя зовет Она.

VII

... Я снова тело ощутил,
а врач
развеселился:

— Плачь или не плачь,
а все там будем, — заключил он здраво. —
Глядишь, еще
помучимся на славу... —
И правда, — он вздохнул, — откуда что?

Она:

— Он жив ведь!

— Вот и я про то.
Вдруг спрашивает:
— Вы ему родня?

— Жена...
Что это было с ним?

— Не знаю.

ЭПИЛОГ

Опять Она не поднимает глаз
и говорит рассеяно и мало.

— Ты сердишься? За что на этот раз?

— Не обращай вниманья, я устала.

— Так отдохни...

Бледнеют в гулком свете
рассудочно начавшегося дня
и наши чувства тоже,
но огня
любви хватает.
За нее в ответе
и чтобы ей вернуть ее красу,
тебя я силой чувства отнесу
к звезде далекой, что на нашу землю
послав свой облик из поры молодой,
погасла, может быть.
Живой водой
вернем ей юность.
Зову Музы внемля,
бродил же я под ней в иных веках.
К ней подниму тебя я на руках.
Вселенную отдать тебе смогу,
заворожив овеществленной грезой,
галактики расставив, как березы

на темном и искрящемся лугу.
Летим же к звездам!
Нам полет подарен
всем лучшим, что произошло до нас.
На грани дня мне обещал Гагарин
корабль свой дать,
чтоб я взлетел хоть раз.
Но и любовь твоя должна помочь.
И от тебя зависит очень много.
Обозначает звездами дорогу
и женщине дарует крылья ночь...

Она глаза на небо подняла,
и комната качнулась, поплыла.
Исчезло все.
Полет или паденье?
Как будто бы несемся мы внутри
бесцветного тоннеля в измеренье
бессчетное,
покинув наши три.
И вырвались.
Повсюду только свет.
Он странен и знаком.
Все в мире этом
пронизано от нас бегущим светом,
скопившимся за миллиарды лет.
Меня прилив волнения охватил:
земной наш свет здесь не бросает тени.
И кажется живым он, как растение.
И звезд не счесть — полуденных светил.

И вижу я, слетает к нам одна
из звезд,
и начинаю различать я в ней женщину —
как будто парус, платье
раскинулось.
Я узнаю — она!
Да, это Муза.
Вот — со мною рядом
две женщины.
Несходны лишь нарядом.
Сошлись.
Свершилось — замкнуто кольцо.
Так зримо, что мороз прошел по коже.
Я вскрикнул:

— Девы, как же вы похожи!
Ну надо же, вы на одно лицо!

— Уймись пока, — мне приказала Муза. —
Она с тобою делит путь земной,
своей судьбой считая эти узы.
А, воспарив,
ты виделся со мной,
не помня о путях земного круга.
И нам взглянуть теперь дай друг на
друга.

И был красноречивым разговор
двух этих взглядов.
Изумленный взор
Она на Музу подняла, не смея

дышать.
Себя увидела Она —
не двойника.
И тем поражена
была, себя всю ощущая ею.
Взгляд Музы грусть туманила.
Пред ней
ее же образ встал, такой реальный,
рожденный той же силой изначальной,
но только смертный — весь из наших
дней.

Они молчали.
Что им все слова?
Слова, как листья осенью, опали,
свои тела открыли дерева...
Забывший ими, словно бы в опале,
стоял я одиноко в стороне.
Но Муза обернулась и ко мне:

—Что скажешь?

— Остаюсь с моим уделом.
Пусть смертен я, пусть мчатся времена,
но ты мне в смертном образе дана
моей подруги, что душой и телом
мне предана.
Живое да живет,
себя виденьем вечности тревожа...
И палку ту, которой с древа плод
мой пращур сбил,
я принимаю тоже...

А что до совершенства, то к нему
естественна в рожденных эта тяга.
Она — не романтический бродяга,
а суть судеб и двигатель всему.
Ну что ж, не зря блужданий допьяна
набрался я, бродя вполуслепую,
по слепоте кляня судьбу такую,
что не случайно мне была дана.
Мы слышали,
да и услышим впредь
призыв, как нескончаемое пенье...
Мы сами есть свое предназначенье.

и этой тайной трудно овладеть.

— Пусть будет так!
Допей свое вино.

И муза, улыбнувшись Ей, взлетела.
И от движенья серебрилось тело,
пока звездой не сделалось оно.

1969-1978, 1980, 1984, 1992 гг.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРОЛОГ	3
НОЧЬ ПЕРВАЯ	5
I.....	5
II.....	8
III.....	14
ПЕРВЫЙ ТАНЕЦ.....	17
ВТОРОЙ ТАНЕЦ.....	21
IV.....	21
V.....	26
VI.....	31
VII.....	34
VIII.....	38
НОЧЬ ВТОРАЯ	41
I.....	41
II.....	43
III.....	46
IV.....	52
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ.....	60
I.....	60
II.....	61
III.....	64

IV.....	66
V.....	68
VI.....	71
VII.....	71
VIII.....	75
ДЕНЬ ВТОРОЙ	76
I.....	76
II.....	77
III.....	80
IV.....	81
НОЧЬ ТРЕТЬЯ	85
I.....	85
II.....	88
III.....	88
ДЕНЬ ТРЕТИЙ	89
I.....	89
II.....	92
III.....	93
ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ.....	94
I.....	94
II.....	97
III.....	98
IV.....	101
V.....	103
VI.....	105
ДЕНЬ ПЯТЫЙ.....	106

I.....	106
II.....	107
III.....	108
НОЧЬ ЧЕТВЕРТАЯ	109
I.....	109
II.....	113
III.....	116
ДЕНЬ ШЕСТОЙ	116
I.....	116
II.....	117
III.....	122
IV.....	130
ДЕНЬ СЕДЬМОЙ	131
I.....	131
II.....	134
И ЕЩЕ ОДИН ДЕНЬ.....	134
I.....	134
II.....	137
III.....	141
IV.....	146
V.....	148
VI.....	150
VII.....	156
ЭПИЛОГ	157